



**ИВАН ДРОЗДОВ**

**УНЕСЕННЫЕ ВОДКОЙ**

## *О ПЬЯНСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ*

Падают таланты на Руси, –  
Кто-то пьет, другой уже в могиле, –  
Господи спаси.  
Мало нас без водки загубили?..

**Ю. Максим**

**М**ы живем в лесу поблизости от Сергиева Посада, и по утрам нам слышится звон колоколов Главного храма России. Этот звон греет душу, напоминает о былом-далеком, зовет куда-то.

Мысленно я все время благодарю Ивана Михайловича Шевцова, писателя, подполковника в отставке, большого знатока литературного и артистического мира столицы. Он всего лишь на два года старше меня, но, кажется, живет на свете давно – так он много знает и понимает, так мудро обо всем судит.

Я с ним знакомился дважды: первый раз, когда жил в Донецке и представлял там газету «Известия» как собственный корреспондент. Однажды мне позвонил художник и сказал: «В нашей библиотеке мне не дали роман Шевцова «Тля». Он, якобы, запрещен, и они его никому не выдают».

Я пришел в областную библиотеку, и мне там сказали примерно то же. Стал разбираться. И скоро раскопал «зарытую здесь собаку». Директор библиотеки не любил Шевцова и особенно его роман «Тля».

Второй раз мы познакомились в Москве. Я работал в редакции. и однажды мне позвонил Иван Михайлович. Сказал, что читал мою повесть «Радуга просится в дом» и нашел, что это вторая «Тля». Голос его был приятный и тон дружеский. Он пришел ко мне, и с тех пор мы стали друзьями. Он имел дачу в Радонежье – так он звал поселок Семхоз, – пригласил меня в гости и уговорил поселиться рядом. Там составила новая колония писателей, преимущественно русских; я говорю «новая», потому что старая колония писателей обосновалась в Переделкино. Про Семхоз они говорили: «На том берегу».

Я помнил советы Чехова, Горького, Диккенса: «В газете не задерживайся. Засушит». И ушел из нее при первой возможности, то есть когда вышли две-три мои книги. На деньги, полученные за роман «Покоренный атаман», купил дачу, вышел на «свободные хлеба» или, как мы еще говорили, на «беспривязное содержание».

Приучил себя ложиться рано, вставать тоже рано – летом с рассветом, а зимой затемно, то есть в пять часов. Подтолкнул меня к такому распорядку академик Марр, – он выдавал себя за украинца, имел большую семью и, чтобы ее прокормить, много работал. Другьям говорил: «Вставать в три часа – рано, в пять – поздно, я встаю в четыре». И добавлял: «Уси сплать, а я працюю».

От пяти до девяти я успевал выполнить свою дневную норму: написать 2-3 страницы, потом завтракал, брал палку и уходил гулять. До двенадцати или до часу бродил по лесу, который мы называли Радонежским, заходил на пруд и, если это было летом, садился на взгорок, где по преданиям сбил себе скит великий наш печальник и

мудрец Сергей Радонежский. Это сюда, на этот пяточок земли русской, пришел Дмитрий Донской за благословением на битву с татаро-монголами. И верилось мне, что здесь и решилась судьба России, – отсюда начался путь могущества и славы Отечества.

В полдень захожу к Ивану Михайловичу.

Меня влечет к нему мир больших интересных людей: у него всегда кого-нибудь встретишь: то писателя, то художника, а то музыканта. Иван Михайлович работал в «Красной звезде», «Известиях», долгое время был заместителем редактора журнала «Москва». Его знали многие известные москвичи, но особенно роман «Тля» привлек к нему интересных людей.

Как-то встретил у него шумного нескладного богатыря. Говорил трубным голосом с нажимом на «о»:

– Владимир Солоухин, – может, слышали?

– Да, слышал и читал: «Владимирские проселки». Они мне понравились, только много в них риторики, – это, видно, от газеты у вас?

– Да, в газете работал. И теперь в газете – в «Литературке».

– Медведь владимирский, из леса вышел, – говорит Шевцов. – Всех прозаиков наших передает. Вот погоди.

Прозаиков он не передавал, но с публицистикой пошел далеко, и имя свое прославил.

Помогаем хозяину накрыть стол, расставляем посуду. Бутылки, как я успел заметить, на столах в Семхозе пользовались особенной привилегией. Впрочем, спиртной дух в те годы становился у нас все крепче; выходцы из Украины, взошедшие один за другим на русский престол, Хрущев и Брежнев, за тридцать лет правления увеличили производство вина и водки на семьсот процентов. Они погрузили Россию на дно бутылки, а тут уж и до гибели недалеко.

Но тогда... Мы еще не слышали далеко и глухо урчащего грома, не различали запаха надвигающейся грозы.

– Ну, как вам Москва? Как устроились в столице?.. Солоухин густо крякнул после выпитой рюмки, двумя пальцами, как щипцами, зацепил соленый огурец.

– Москва – пустыня, я здесь заблудился и не могу понять, где право, а где лево.

Шевцов наполняет бокалы и снисходительно улыбается.

– Скоро оглядишься и поймешь, перед кем шапку ломать, а кого узить. Деревня ныне валом катит на Москву, – и ваш брат едва заявился и уж в кресло норовит, в какой кабинет ни зайдешь, то официант ярославский, то мужик вятский загребуший, хваткий, а то пензяк – соленые уши.

Шевцов говорит монологами и каждого, кто хоть на год моложе его, называет на ты. Он в последние годы выпустил три романа и книгу о Сергееве-Ценском. Очень гордится тем, что Ценский, этот последний гигант из плеяды русских классиков, оставил завещание, где назвал его распорядителем своего литературного наследства. Шевцов еще молод, но уже лысоват, он носит маленькие жесткие усы, и глаза его, серо-зеленые и насмешливые, горячо блестят от выпитого вина.

Он очень остроумен, и остроумие его вспыхивает новым светом от каждой очередной рюмки.

– Я тоже родился в деревне, – говорит он, разливая вино, – в Белоруссии, но жил все время в городе. Асфальт выбил из меня плебея, двери кабинетов ногой открываю, а те, что сейчас из деревни прут. сплошь льстецы и хитрованы. Борис Можжаев, Андрей Блинов; или вот – Коля Сергованцев. придешь к нему – не знает куда посадить тебя, а повернешься спиной – пинка даст.

– Разные люди живут в деревне, – гудит Солоухин, – разные. Меня, к примеру, не опасайся. Я, если что, в глаза скажу, а камень за пазухой держать – нет, не таков.

– Посмотрим, посмотрим.

Рюмки следуют одна за другой, глаза моих собеседников блестят все ярче, язык развязней – вот уже мы говорим одновременно и слушаем только себя, и каждый решительно не понимает, что говорит другой и зачем он говорит.

Теряешь нить логики, ощущение времени. Солнце склоняется за лес, а мы все гудим, и чем дальше, тем бессмысленнее наша беседа, и непонятно, зачем приехал в Семхоз Солоухин и в чем смысл нашей встречи.

Домой я возвращаюсь обескураженный, мне неловко, почти стыдно и за себя, и за моего великого друга Шевцова. Я говорю «великого» потому, что именно таким я его тогда воспринимал. Слава его была в зените, – критики рвали на части его роман «Тля», за один только месяц и только в центральных газетах вышло десять разносных статей. А известно: ничто так не прибавляет популярности, как ругань критиков.

Я живу в доме один, сплю в кабинете на втором этаже. Моя жена Надежда и дочь Светлана в городе – жена работает, дочь учится в институте. Приезжают на дачу в пятницу, иногда в субботу. Удобно для творчества и для дружеских попоек, вроде вчерашней.

В пять часов я, конечно, не встал, едва поднялся в девять. Настроение скверное. Не хочется есть и не смотрю на письменный стол. Болит все тело: голова, живот, мышцы. Пил я немного, а вот какое действие оказывает на меня спиртное, особенно, если пью и водку, и вино, и коньяк. Много раз себе говорил: пить мне нельзя, такой уж организм: не принимает этой гадости. Но как не выпьешь в дружеской компании? Что скажут товарищи?..

Ход мыслей этих знаком. Я всегда так думаю после попок. И даю себе зарок: пить меньше! Пить умеренно, культурно, – ведь так, наверное, пьют дипломаты на разных встречах.

И каждый раз, садясь за стол с друзьями, помню об этих внутренних беседах с самим собой, и пью меньше, чем раньше, прибегаю к разным уловкам: то не допью, то не долью, а то под шумок водку нарзаном подменю, – а и все равно: утром встану – настроение скверное, работа на ум не идет.

Раскрываю настежь окно, хожу по комнате. В памяти звучат отрывочные фразы беседы с Солоухиным. Цельного впечатления о человеке не составилось. От визита к Шевцову – досадное раздражение. Зачем же мы пили? И я столько раз зарекался не пить даже малые дозы! Но в первые же минуты застолья всех охватывает внезапный энтузиазм, обещания забываются, тормоза исчезают. Рюмки точно птицы летают над столом, и все чаще, все резвее.

Что за наваждение прижилось в людском мире? Откуда сила такая у этого зелья?

Думалось и о том, какие потери несем мы от пьянства. Вот хоть бы и эта, наша вчерашняя невинная попойка. Я утром не встал, не сделал своего дела; и друг мой Шевцов, и гость его Солоухин, – спят, поди, до сих пор. А встанут – еще выпьют на похмелку, и снова целый день вычеркнут. И сколько их, этих попок, похмелок, вычеркнутых дней, недель и лет?.. Вино, как вечно включенный тормоз, держит человека и не дает ему расправить крылья.

Проходит день, ночь, и я восстанавливаю заведенный порядок жизни. Поднимаюсь в пять и до девяти сижу за столом. Замечаю: после недавнего возлияния мысли бегут не так резво, стиль вяловат и фантазия будто приторможена – персонажи двигаются с трудом, а говорят так, будто во рту у них камни. Вот незадача! Даже через сутки не приходит просветление.

Позже, когда я серьезно займусь проблемой пьянства, я узнаю, что наш организм с большим трудом выводит продукты алкоголя. В клетках же мозга они держатся около 20 дней. Значит, если вы пьете хотя бы раз в месяц, вы почти все время находитесь под воздействием спиртного. Ну, ладно, если вы плотник, штукатур или сантехник; у вас будут подрагивать руки, но гайку вы все же прикрутите. Иное дело, если вы конструктор и вам надо изобретать новую машину, или вы писатель и создаете образ какой-нибудь чувствительной барышни, – тут включаются в работу высшие разделы мозга, центры, ведающие творчеством. Но, как я потом узнал из книг академика Углова, именно эта тонкая материя в нашем сознании и поражается в первую очередь алкоголем. Но книг Углова я тогда не читал и во всем полагался на свой житейский опыт. Я в тот день рано поднялся из-за стола и отправился в мастерскую, где, уподобляясь Леониду Леонову, строгал, пилил и мастерил нужные для дома предметы. Только если Леонид Максимович делал шкафы, которые могли соревноваться с дворцовыми, то я ладил полочки, подставки для свеч, да и то замечу без ложного кокетства, предпочитал помалкивать об авторстве своих поделок. Тут уместно будет вспомнить, как Иван Михайлович, гуляя по лесу, каждый раз на высохших деревьях находил замысловатые сучья и затем искусно выделывал из них трость или посох, да так, что ручка поразительно напоминала то голову барана, то клюв хищной птицы, а то и целую группу животных. Он эти палки полировал, покрывал лаком, а потом дарил посетившему его приятелю.

Строгал и пилил я долго, до самого обеда, и, к радости своей, стал ощущать прилив сил, зовущих меня к письменному столу. «Ага! – думал я со все возраставшей радостью, – отступает Зеленый змей, или Джон Ячменное зерно, – как называл алкоголь всю жизнь страдавший от него Джек Лондон. – Не так уж и велика твоя сила. А в следующий раз я выпью совсем малую дозу, – ну, две, три рюмки, да и то буду пить не до дна, а этак... изящно и культурно, как пьют дипломаты».

Мне почему-то всегда казалось, что именно так и пьют дипломаты – изящно, культурно. Сделает глоточек, другой – откинется на спинку кресла и думает как бы объегорить сидящего рядом коллегу из вражеского стана.

Стал замечать кружащихся над головой пчел. В чем дело? Я держал два улья. в мастерскую пчелы не залетали. Вышел в сад и увидел комическую сцену: по усадьбе бегает поэт Владимир Фирсов и отмахивается от пчел. Я побежал к веранде дома, увлекая за собой поэта. Тут веником отогнал от него пчел и спросил:

– Ты к ульям, что ли, подходил?

– Ну да, хотел посмотреть, как они живут, шельмы. А они, как собаки, кинулись на меня.

Изо рта Фирсова шел густой сивушный запах.

– Пчелы пьяных не любят.

– Какой же я пьяный? – вскинулся поэт и громыхнул тяжелым посохом, – кстати, подаренным Шевцовым.

– Для них и рюмки достаточно, – старался я смягчить грубоватую аттестацию. – Они пьяного за версту слышат.

– Опять – пьяный! Да ты что, Иван! – где ты видишь пьяного? Ты как теща моя: я воду пью, а ей мерещится водка. У меня со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было.

– Если вчера пил – тогда конечно.

Фирсову послышалась издевка и в этих моих словах, он сжал в кулаке оленью голову посоха, выкатил на меня коричневые, еще не остывшие от вина глаза.

– Ну, Иван! И ты туда же: мораль читать. Я к нему от жены и от тещи сбежал, они мне всю плешь переели, а и тут покоя нет. Ты лучше винишка налей – того, что Надежда твоя из черной смородины сделала.

«Опять пить!» – подумал я. И тут же дал себе зарок: на этот раз – ни капли!..

Выкатываю из-за шкафа громадную, литров на пятьдесят, бутылку, наполняю графин. Краем глаза вижу, как весь засветился мой гость. Придвинулся к столу, крякнул от нетерпения и принялся прочищать нос. У него был застарелый гайморит, и он часто и шумно шмурыгал носом, впрочем, не без некоторого артистизма и изящества.

Наполнил бокал темной густой настойкой, подаю Фирсову.

– А себе? – зарычал он, обхватывая всей пятерней бокал.

– Ты, Володя, пей, а я не хочу.

– Как не хочешь?

– А так – не хочу и все. Позавчера у Шевцова выпил.

– С этим... кулаком?

– Каким кулаком?

– С Солоухиным. Владимирский окальщик. Он ведь в Москву перебрался. Медведь нечесанный. Перстень показывал?.. Нет. На пальце печатку носит и на ней портрет царя Николая. А окает больше для форсу, чтобы ото всех других отделиться. Он теперь во все щели лезет, знакомства заводит. У меня не задержался, к Шевцову пошел. Михалыч-то у нас – величина. А-а!.. Наливай себе.

– Пей один. Не буду я. Голова не на месте. Писать мне надо.

– А мне не надо! Я стихами только и живу. А у меня жена. теща, два сына. В год-то один тощий сборничек напечатают, получу три тысячи. Долги раздам и опять... Хоть побирайся!

Достает с полки стакан, наливает мне. Я, чтобы не зверить гостя, чокаюсь, отпиваю половину.

Фирсов доволен.

– Во!.. А то ишь – моду взял. Нос воротит. Ты, Иван, эти свои чистоплюйские замашки брось. Не любят у нас таких – чистеньких. Вон Солоухин – видел? Пьет как лошадь! И всем мил будет, скажут: мужик!.. Хотя и провинциальный, а пьет как и мы, столичные. Солоухин далеко пойдет – вот увидишь. Он к именитым в душу лезет. Насчет таланта литературного не знаю, а талант лакейский сразу виден. Лакеев, сам знаешь, привечают. Наливай! Чего задумался?

Я наливаю.

Фирсов на мой стакан уже не смотрит: пьет один – жадно, с присвистом и прихлипом, и с каким-то нутряным глубинным кряканьем. Осушив бокал, некоторое время смотрит на него, точно ждет еще что-то. И затем не торопясь ставит его, – и далеко от себя, почти на угол стола, словно бы этим желая сказать: «Все! Будет! Я меру знаю – не алкаш какой-нибудь. Пью как и все хорошие люди – культурно».

От выпитого вина Фирсов как-то весь воспламенился, – у него даже лысина порозовела. Однако на меня он не смотрит, а все сучит глазами по углам веранды и не знает, что и о чем еще говорить.

И вдруг на мгновение сникает. По лицу поползли морщинки – точно от внезапной боли.

– Говоришь, писать надо? – спрашивает он, не поворачивая ко мне глаз и вновь захватывая пятерней бокал. – Мне тоже надо. Я ведь, как Твардовский: пишу мало потому, что редко трезв бываю. А на пьяну голову чепуха разная лезет. Рифмы, как воробьи, врассыпную летят. Скверно, брат! Стихи не идут, а других доходов нет. Оно так: «Поэтам деньги не даются».

Он снова морщится, как от боли, и жмет бокал до хруста в пальцах, и тихо, с глубокой грустью продолжает:

– Заметил я: вино образ гонит, он, образ, от вина бежит куда-то. Я если винишка приму хоть самую малость, то сиди – ни сиди, а образа нет, и метафоры, и сравнения – все крепкие для стиха кирпичики бегут из головы или там в мозгах так запрячутся – клещами не вытащишь.

Слушая товарища, я невольно вспоминаю его стихи. Мы с ним и в Литературном институте вместе учились. Свежим ярким образом он еще тогда поражал нас.

Дрозды сидели на рябине,

Клевали спелую зарю.

Поэт он от Бога, талант щедрый, яркий – его потом недаром Михаил Шолохов из всех поэтов выделит и в любви ему признается.

Я тоже люблю Фирсова – и как поэта, и как человека. И больно мне слушать его откровения.

– Да если так, – невольно продолжаю его мысль, – брось пить и вся недолга. И образы вернутся, и рифмы, метафоры засветятся – брось! А?..

Фирсов выпрямляется, смотрит на меня изумленно – словно на чумного, басит:

– Опять за свое! А ты сам-то возьми и брось! И вылей на грядки всю бутылку, все полста литров. Что скажет тебе Надежда, и зять Дмитрий, и дочь Светлана? Нет, старик, все мы в плену у людских привычек, а люди, они без вина не живут. Так-то. Налей еще стаканчик. Больно хороша у тебя настойка.

Как воры не любят честного, грязные – чистого, так пьяная компания не любит и даже не переносит трезвого. В молодости я в застолье старался поддержать дружеский кружок – пил хотя и меньше других, но отвращения к спиртному не показывал. И чем я был моложе, тем больше у меня было друзей, и не было среди них непьющего. Работая в «Известиях», дружил с Борисом Галичем, Евгением Кригером, Юрием Феофановым, – они в то время были маститыми, известными журналистами. И пили помногу, но знали ту черту, где нужно было остановиться. Кригер и Галич пьяными в редакции не появлялись, а Феофанов и в сильном подпитии шел в редакцию. Сидел за столом, склонив на грудь голову, лицо красное, почти малиновое, а кончики ушей и носа белые. Все знали, что он пьяный, но мирились, потому что и сами пили.

Помню один забавный случай. Работал я собкором «Известий» по Донбассу, жил в Донецке. Однажды звонит мне председатель облисполкома, говорит: «В городском сквере на лавочке лежит пьяный. Милиция хотела отвезти его в вытрезвитель, но посмотрели документы – оказалось, что он заместитель редактора "Известий"». Называет фамилию. Я сказал: «Да, есть у нас такой, и он действительно заместитель редактора "Известий", но только не главного, а редактора по разделу. У него здесь живет теща, и он приезжает иногда к нам с частным визитом».

Милиция отвезла его к теще, – на том и порешили инцидент с пьяным высоким лицом.

Потом я перешел на профессиональную писательскую работу. Мир моих интересов находился в кругу писателей и поэтов. Тут уж вино и водка были особенно желанны. В очерке о Геннадии Шичко и его методе отрезвления я писал об этом, но писал мало, – боялся нарушить товарищескую этику, выдать тайны личной, семейной жизни. Писательская богема имеет свой взгляд на спиртные возлияния, почитает увлечение рюмкой чуть ли не за доблесть, чуть ли не чертой божественного дара. Тут распространено мнение, что спиртные возлияния нужны для вдохновения, без них немислимо поэтическое озарение. И если вы вздумаете оспорить эту расхожую глупость, вам приведут имена Вергилия, Овидия... Потом и Пушкина, Байрона, Есенина... Все они пили, – а как писали! И Алексей Толстой в день выпивал бутылку коньяка. И Джек Лондон, и Фолкнер, и Джойс...

«Конечно же, вы пьяница, – написал Эрнст Хемингуэй в 1934 году Ф. Скотту Фицджеральду. – Однако ничуть не больший пьяница, чем Джойс и другие хорошие писатели».

Так уж повелось давно: вино и муза рядом. Но так думали раньше, во времена, когда не было научных знаний о пагубе алкоголя. Теперь этот миф развенчан. К сожалению, не русские, а западные писатели – и, прежде всего, Джек Лондон, Том Дардис – сделали это лучше, чем кто-либо. Смело, без ложной деликатности рассказал американский писатель Том Дардис о жизни Хемингуэя, Фицджеральда, Фолкнера и О'Нила, о том, что пристрастие к вину стало причиной в одном случае неудач, а в другом – и полного творческого бессилия. И каждый из них, сходя в могилу, осознал, что гений его придушен зеленым змием. Дардис написал свою книгу после того, как у него, преподавателя колледжа, один юноша спросил: «Почему все писатели, которых мы проходим, были алкашами?»

Дардис в своей книге приводит 28 авторов, которых он считает алкоголиками. Среди них: Джек Лондон, Дэшил Хэммет, Дороти Паркер, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Трумэн Капоте, Джеймс Джойс.

Приведу одно место из «Гардиан», рассказывающей о книге Дардиса:

«Фолкнер чувствовал, что может работать только пьяным. Он считал себя прежде всего летописцем, повествующим о событиях, которые уже произошли, а посему нуждался, как ему казалось, в обостренном их восприятии, которое достигалось с помощью алкоголя. В результате подогреваемое выпивкой создание книг сопровождалось ухудшением физического и психологического состояния. В возрасте, близком к сорока, во время написания романа "Авессалом, Авессалом!", Фолкнер погрузился в состояние глубочайшего запоя, из-за чего несколько раз попадал в больницу. Непонятно, каким чудом сохранилась его способность что-либо писать при таком губительном режиме. Следуя примеру Алджернона Суинберна, его любимого поэта и тоже алкоголика, Фолкнер нанял медбрата, чтобы тот следил за количеством потребляемого спиртного и помогал писателю не впадать ни в одну из крайностей, коими являются трезвость и запой. Попытка не удалась, и работать Фолкнеру становилось все труднее и труднее. Роман "Притча" создавался на протяжении почти десяти лет и не нравился автору».

Хемингуэй имел свой особенный взгляд на винопитие: поначалу он считал, что писать нужно на трезвую голову. Пил в дни отдыха. Но пил часто и дозы увеличивал. Могучий организм позволял ему и писать. Стал

бравировать своей способностью пить и писать романы, «приобретал репутацию знаменитого на весь мир "папы" с неизменной бутылкой рома в руках». Приговаривал: «А я не пьяница!» Друзьям признавался, что, в отличие от алкоголика Ф. Скотта Фицджеральда, он пьет «умеренно».

Еще одна выписка из «Гардиан»:

«Карьера Фицджеральда оказалась загубленной раньше, чем его жизнь. Он часто залезал в долги перед издателем. Так происходило, когда авансы за романы не покрывались доходами от их продажи, из-за чего приходилось писать короткие рассказы для журналов. Возможно, именно таким способом и можно было решить финансовые проблемы, но пьянство мешало творчеству. По мере снижения качества рассказов снижалась и их оплата. Материальное положение неуклонно ухудшалось и, наконец, заставило Фицджеральда заняться написанием сценариев. Он умер в Голливуде в возрасте 44 лет».

Умышленно привожу эти истории, – они характерны и для многих моих товарищей по нашему цеху. Я еще учился в Литературном институте и дивился тому, как много пьют молодые поэты и писатели. Том Дардис пытается в своей книге объяснить, почему пили американские писатели, но ответа не находит. Мне тоже трудно объяснить увлечение алкоголем литературной молодежи, но думается, главную причину нужно искать в той терпимости, и даже поощрительном отношении общества и государства к виноторговле. Общество всем образом жизни, всеми средствами убеждения как бы закладывало в сознание своих граждан программу винопития. Играла тут свою роль и мнимая элитарность среды, радость от сознания, что тебя приняли в институт, ты талант, тебя печатают в журналах и все наперебой хвалят. Именно поэтому больше пили и скорее спивались самые талантливые литераторы.

Приведу здесь место из недавно опубликованной моей воспоминательной книги «Оккупация»:

«По скверику Тверского бульвара шли к Садовому кольцу. Он (Стаховский. – Ред.) вдруг остановился и сказал:

– А хотите посмотреть, как живут студенты? Вам теперь знать надо.

– Пожалуй. А где они живут? У нас есть общежитие?

– Тут вот – недалеко. Шалманчик небольшой. Неожиданно мы увидели Ольгу. Она подождала нас. и мы пошли вместе.

– Пьют они там, – пояснила Ольга. – Хорошие поэты, но все время пьяные.

– А вы откуда знаете, мадам? – склонился над ней Стаховский.

– Была у них. Вчера шли мимо и меня зазвали.

– Опасная экспедиция, смею вам заметить. Такой прелестный ягненок забрел в гости к тиграм.

– Я ничего не боюсь. Позовут крокодилы – и к ним пойду. Ольга говорила спокойно и без всякого стеснения, а мне подумалось: вот тебе и ангелочек божий. С ней еще хлопот не оберемся. Мне стало жалко ее. И подумал я о дедушке, который привез ее из какой-то дальней страны и оставил одну в Москве. Он еще и квартиру отдельную для нее снял. И она уже как-то сказала мне: "Приглашаю вас в гости. Мне дедушка такую хорошую квартиру снял – прелесть". Я тогда промолчал, а она затем пояснила: "Дипломат какой-то поехал с семьей к нему в посольство, а мне квартиру сдал. На все время учебы". А я думал: "Вот раздолье девке. Как же она поведет себя в такой обстановке? Она ведь еще девчонка. Соблазнов-то сколько!"

Зашли в темный, сырой подъезд старого-старого дома, каких множество в маленьких переулках и забытых, обойденных цивилизацией улочках Москвы. На втором этаже остановились перед облезлой, изъеденной кем-то и изрезанной чем-то дубовой двустворчатой дверью. Позвонили. И долго-долго ждали. Наконец, дверь раскрылась и из коридора повалил запах горелой картошки и жженого лука. Пьяными глазами на нас уставился низкорослый краснолицый и совершенно лысый молодой человек. Он долго нас не видел, а рассматривал Ольгу и заплетающимся голосом сказал:

– Ты же вчера фыркнула и ушла. Впрочем, дала на бутылку. Ты и теперь дашь нам пятерку, да?

Вошли в комнату, похожую на ученический пенал. Вся мебель тут была расставлена у одной стены: кровать, диван, два совершенно облезлых кресла. В глубине комнаты светилось окно и у него стоял небольшой стол и три венских стула. От всего тут веяло стариной, – допотопной, почти доисторической.

– О-о-о! Кто к нам пришел?.. Ольга! Ты на нас не обиделась? Вчера кто-то неизящно при тебе выразился.

Ольга, показывая на меня, сказала:

– Я привела к вам секретаря партийной организации. Пусть он посмотрит, как вы живете. И пусть скажет, можете ли вы в таком состоянии создавать русскую поэзию, продолжать дело Пушкина.

Низкорослый и краснолицый махнул рукой:

– Русская поэзия уже создана. Вот он ее соорудил. – Показал на портрет Пушкина. – А продолжать ее будут господа евреи. Нам Пастернак сказал: «Печатать будут тех из вас, кто нам понравится». Я спросил: «А кому это вам?» Он ткнул себя в грудь, повторил: «Нам». Вот и вся история. А я не хочу нравиться Пастернаку. Значит, и ходу мне не будет. А посему выпьем.

– Водка кончилась! – загудел привалившийся к углу дивана русоволосый есениноподобный парень. – Кончилась водка!- повторил он громче. И покачал кудлатой головой. – А чтобы я, как вчера, просить вот у нее деньги?.. Ну, нет! Увольте! Я еще не всю мужскую гордость растерял.

И поманил рукой Ольгу.

– Оля, посидите со мной. Мне ничего в жизни больше не надо, только чтобы вы посидели рядом. А наш новый секретарь поймет меня и не осудит. Он ведь и сам студент. И это здорово, что в партийном бюро у нас будет заправлять наш брат, студюоз. Только вот понять я не могу, зачем он, такой бывалый и уже семейный человек, поступил к нам в институт? Ведь на писателей не учат. Писателем надо родиться. А я не уверен, что он родился писателем.

Ольга присела к нему на диван и с жалостью, с каким-то сострадательным сочувствием на него смотрела. Было видно, что она с ним встречалась раньше и его уважала. А он смотрел в потолок и чуть заметно вздрагивал всем телом, и морщил лицо, очевидно страдая от большой дозы спиртного. Я тоже знал его: это был студент третьего курса Дмитрий Блынкий, как мне говорили, очень талантливый поэт. Кто-то даже сказал: «Будет второй Лермонтов». Я пододвинул к нему стул и сел у изголовья.

– А почему вы не уверены, что я родился писателем? А вот Ольга поверила.

– Ольга не знает теории вероятности, а я знаю. Поэты рождаются раз в десять лет. Один! Слышите? Только один экземпляр! Прозаики так же редки. И это у великого народа, да еще не замутненного алкоголем. Так неужели вы, трезвый человек, прошедший войну, забрали себе в голову, что вы и есть тот самый редкий экземпляр, который появляется на свет раз в десять лет?.. Ну, вот Ольге я это прощаю, а вам – нет, не прощу.

Из дальнего угла раздался бас Стаховского:

– Митрий! Не блажи! Не морочь голову нашему секретарю; я с ним уже сошелся на узкой дорожке и могу свидетельствовать: он неплохой мужик. С ним мы поладим. А кроме того, ты не прав в корне. Давай уточним наши понятия: раз в десять лет родится большой поэт – это верно; раз в столетие могут появиться Некрасов, Кольцов, Никитин; а раз в тысячелетие народ вырождает Пушкина. Но есть еще легион литераторов – их может быть много, – сотня, другая, и они тоже нужны. Они дадут ту самую разнообразную пищу, которая называется духовной и которая сможет противостоять вареву сельвинских, светловых, багрицких. Вот он, наш секретарь, и будет бойцом того самого легиона. И я в этом легионе займу место на правом фланге. А вот ты из тех, кто рождается раз в десять лет, но из тебя и карликовый поэтишка не вылупится, потому как ты жрешь водку и сгинешь от нее под забором. И Ваня Харабаров – вон он уснул в кресле, он тоже сгинет, потому что пьет по-черному. И Коля Анциферов, – вон он тарачит на нас глаза и не может понять, о чем мы говорим, – он тоже сгинет. Все вы слякоть, потому что пьете!

– Ну-ну! Потихе! – возвысил голос Блынкий. – Я ведь могу и обидеться.

– Пусть он говорит! – пролепетал Анциферов – низкорослый, широкоплечий и совершенно лысый парень. Он приехал из Донбасса, работал шахтером и, к удивлению всех, пишет стихи философского содержания и с тонким юмором. Он тоже очень талантлив, и в издательстве готовится к печати сборник его стихов. Недавно он получил за него аванс и вскоре же пропил.

– Стаховский грубиян и нахал, но он говорит правду, и за это я его люблю. И если кто вздумает его тронуть, я его задую вот этими...

Анциферов поднял над головой красные могучие руки рабочего человека. И еще сказал:

– И не вздумайте ругаться, как вчера! К нам пришла Ольга. Это наш ангел, светлое видение. Я сегодня, как только она вошла, отставил в сторону стакан и выбросил в форточку недопитую бутылку. Жалко, страсть, как жалко, а при Ольге пить не стану. И вообще... – если бы меня полюбило такое диво, бросил бы пить совсем. Вот те крест – бросил бы!

Взгляд своих пьяных покрасневших глаз он усталил на меня и долго смотрел, морща губы, словно пытался что-то выбросить изо рта.

– Так ты, секретарь, посмотреть на нас пришел? А ты скажи мне: зачем нам секретарь? Ты что, сможешь мне подборку стихов с моим портретом напечатать, вот как печатают Стаховского? Да у него и никакие не стихи, а их печатают. Почему их печатают? Да потому, что он Стаховский и зовут его Бенья. Он, конечно, поляк, а они думают, что еврей. И печатают. И будут печатать, как Евтуха. Потому что Евтух-то тоже не Евтушенко, а Гангнус. И вот посмотришь: он тоже скоро будет великий поэт, как Багрицкий, Сельвинский, Далматовский... Стихи у них так себе, плюнь и разотри, а газеты кричат: великий! А почему они так кричат? Да потому что в газете-то у него своячок сидит, такой же еврей, как и он. Вот что важно: евреем быть! Это как Ломоносов просил царицу, чтобы сделала его немцем. Вот где собака зарыта: русские мы, а русским в России хода нет. Так за что же ты бился там, на фронте, секретарь, лоб свой под пули подставлял?.. Нам газеты нужны, журналы, а там – евреи. Сунул я свою круглую шлепоносую морду к одному, другому, а они шарахаются, точно от чумного. Они печатают Евтуха, Робота, Вознесенского. Да еще татарочку с еврейским душком Беллу Ахмадулину. А ты, говорят, ступай отселева, от тебя овчиной пахнет. А?.. Что ты скажешь на это? Ты кого защищал там на фронте? Их защищал? Ихнюю власть – да?.. Эх, старик! Немцев уютжил бомбами, а того не понимал, что к Москве уж другой супостат подобрался. Этот почище немца будет, он живо с нас шкуру сдерет.

Анциферов замолчал и долго сидел, уронив голову на колени. Потом тихо пробурчал:

– А Ольгу не паси, оставь ее нам. Ты старый, тебе уж поди за тридцать, а она вон какая молодая.

И потянулся к Ольге:

– Ольга! Дай мне руку. Ну, дай!

Ольга подала ему руку, и он припал к ней щекой, долго не отпускал. Бубнил себе под нос:

– Не влюбляйся в женатого. Слышала песню? "Парней так много холостых..."

Ольга красивым звонким голосом пропела: "Парней так много холостых, а я люблю женатого".

– Ну и дура! – махнул рукой Анциферов. – Хотел посвятить тебе стихотворение, а теперь посвящу Юнне Мориц. Ты знаешь такую кочергу? Она вчера сказала на собрании: Пушкин устарел, его книги надо бросить в топку. Во, помело! Пушкина – в топку! И зачем я ехал к вам из своего Донбасса?.. У нас тоже есть евреи, но они там смиренные, не кусачие.

Было уже поздно, и я стал прощаться с ребятами. С тяжелым сердцем мы с Ольгой выходили от них. Я понял, что у поэтов и писателей, особенно у начинающих, есть еще враг не менее страшный, чем сионизм – это алкоголь. И как с ним бороться, я не знал».

Мои современники, друзья шли в литературу из глубин народа – дети рабочих и крестьян, нарождающийся после войны новый слой русской интеллигенции. У них перед глазами были кумиры: Есенин, Хемингуэй, который любил повторять: «Хорошие писатели – пьющие писатели, а пьющие писатели – хорошие писатели». Это была философия медленного самоубийства. Но для моих однокашников коварная философия сработала быстро. Дима Блынский – талантливейший из молодых поэтов, поехал в Мурманск, там спился и домой вернулся в цинковом гробу. Николай Анциферов – блещущий юмором, искрометный стихотворец – в ресторане выпил дозу, не смертельную для высоких и могучих телосложением его собутыльников, но для него, низкорослого и голодного, оказавшуюся роковой. Ваня Харабаров – тоже низкорослый паренек из Сибири, выпил около литра водки, уснул и больше не проснулся. Им всем троим было по двадцать пять – двадцать шесть лет. Тоненькие книжечки их стихов, как крылатые вестники рожденных народом талантов, остались нам в память и назидание о страшной и коварной силе алкоголя.

Многие студенты как-то лихо, соревнуясь друг с другом, пили. И каждый из них вслед за Есениным мог бы сказать:

Я вам не кенор!  
Я поэт!  
И не чета каким-то там Демьянам,  
Пускай бываю иногда я пьяным.  
Зато в глазах моих  
Прозрений дивных свет.

Они знали поэзию, поэтов, наизусть читали стихи, восхваляющие «доблесть» винопития.

Вот К. Н. Батюшков:

Но где минутный шум веселья и пиров?  
В вине потопленные чаши?

Денис Давыдов:

Где друзья минувших лет.  
Где гусары коренные,  
Председатели бесед.  
Собутыльники седые?

Наши поэты находились в том же заблуждении, что и русские поэты прошлого века. и американские, и другие писатели; они считали алкоголь неременным спутником музыки. Считали, что вино им помогает. Выражаясь языком ученого Геннадия Шичко, они имели искаженное сознание – «дефект сознания». Толстой говорил просто: пьющие и курящие – люди дефективные. И действительно: всеми поступками человека руководит сознание, и не будь в его сознании дефекта, он не стал бы отравлять себя ядом спиртного или никотином.



Среди многочисленных сект есть секта летунов. Ее прихожанам внушается такая мысль: стоит вам освободиться от грехов, и вы обретете способность еще при жизни улететь в рай. И хотя мысль эта всякому разумному человеку кажется химерической, нереальной, но, повторенная многократно, да еще талантливыми проповедниками, она постепенно внедряется в сознание и затем становится убеждением, то есть психологической запрограммированностью. Среди сектантов встречаются охотники живыми переселиться в лучший мир. Они выбирают скалу повыше, творят молитву и – начинают свой полет. И хотя каждый раз подобное путешествие оканчивается плачевно, и сектанты хоронят своего собрата, но и после этого продолжают верить в способность достигнутьрая. О погибшем же товарище говорят: «Он еще не освободился от грехов. Грехи его потянули вниз». Так велика и устойчива сила психологической запрограммированности.

«Дефект сознания» может встречаться и у самых образованных, очень умных людей. Поэты, возносившие хвалу Бахусу, – замечательные, талантливые люди, сыны Отечества, которыми гордится русский народ, – и не подозревали о том, что всем строем жизни, бесчисленными деталями быта, системой взглядов и умопостроений им с пеленок закладывалась винопитейная программа, ставшая в зрелые годы стойким убеждением – той самой «дурью», которую они готовы были защищать, насаждать другим, а если это были поэты, то и петь вину дифирамбы: «Пускай бываю иногда я пьяным, зато в глазах моих прозрений дивных свет». Или: «Вино, вино, оно на радость нам дано».

Как видим, питейная программа имеет свои профессиональные окраски, она многосложна и колоритна. У поэтов отлита в звонкие строки, звучит музыкально, остроумно, иногда таит в себе большую силу образного мышления. Тут и ритм, и рифма, и метафора, – подчас редкое поэтическое откровение. И, конечно же, такая программа быстро овладевает умами, а лучше сказать, искривляет, деформирует сознание, и требуются такой же силы слова, доводы для того, чтобы эту программу поколебать, рассеять, вытряхнуть ее из головы. Может быть, потому среди отрезвляемых по методу Шичко людей я не встречал поэтов. Прозаики есть, есть режиссеры, артисты, – в том числе крупные, народные, – а вот поэтов я не знаю. Впрочем, Люция Павловна Шичко одного называет – Глеба Горбовского. Его отвратил от пьянства на многие годы сам Геннадий Андреевич.

Итак, и здесь программа. История поэзии дает много примеров, как питейная страстишка, светясь и играя в стихах на все лады, идет от поэта к поэту – еще из древности, из гомеровской «Илиады»: «Весело пировали греки в Фивах. Юноши разносили вино, наполняя им доверху чаши пирующих». И затем стократно воспетая, на все лады расцвеченная страсть к вину становится убеждением, чуть ли не религией поэтов и писателей, людей искусства, творческого труда.

Не смогли на протяжении веков верно оценить и осмыслить эту пагубную страсть и мудрецы-ученые. Разве что наиболее прозорливые из них – как, например, Леонардо да Винчи, сказавший: «Вино мстит пьянице», – или Аристотель: «Опьянение есть добровольное сумасшествие».

В большинстве же своем ученые тоже пьют. И до сего времени. И даже ученые-медики, академики наши, хирурги и терапевты. Ф. Г. Углов мне говорил: «Редкий, редкий академик медицины не пьет вино. Я что-то такого и не припомню».

Питейная запрограммированность и здесь имеет свою профессиональную окраску. Например, хирург, принимающий рюмку коньяка после тяжелой операции, скажет: «Устал. Надо снять напряжение». И даже он не замечает, или не хочет замечать, что выпитая им рюмка коньяка вконец его расслабляет и клонит ко сну.

На Севере вам скажут: «Выпьем для сугреву», – и тоже говорят глупости, потому что вино только в первые минуты согревает, а затем происходит быстрая теплоотдача. Алкоголь расширяет периферические сосуды, как бы растворяет все форточки настезь. Потому-то часто и замерзают пьяные.

Доводы, умопостроения, логические посылки, пусть и ложные, оформляются в стереотипы мышления, составляют убеждение. программу – питейную запрограммированность. На ее-то разрушение и направил свои усилия Геннадий Шичко. Он в своих поисках действовал, как боец на войне: чтобы победить врага, надо его увидеть, обнаружить. Питейная запрограммированность – это и есть тот самый противник, которого обнаружил Шичко. Теперь для него стояла задача – уничтожить противника, то есть разрушить питейную программу.

Никогда и нигде я не писал об этом, деликатно полагая, что правдой суровой наброшу тень на память своих товарищей. Но поэт или писатель принадлежит народу, а их пристрастие к спиртному нельзя назвать одним только их пороком, а скорее это порок, поразивший общество, следовательно, и факт их пьянства, причина гибели – явление социальное и больше лежит на совести общества, чем на их собственной. Американцы говорят вслух о проблеме «писательский труд и алкоголь», и от этого авторитет их писателей не страдает, а миф о связи творчества с выпивкой рассеивается. Кроме того, и в среде писателей появляются убежденные трезвенники, яростные враги алкоголя. Рита Браун, известная романистка, написала пособие для начинающих писателей: «Начните с закорючки». Там она пишет: «Если вы ищете утешения или вдохновения в бутылке, то вы круглый дурак. Ведь это все равно, что пить напалм. Рано или поздно вы сожжете свои творческие силы».

Жаль, что подобной книги до сих пор не появилось у нас. В самом деле, почему у нас не появилось книги об образе жизни наших писателей, – правдивой книги, той, в которой бы с беспощадной суровостью вскрылась роковая связь алкоголя и писательского труда, та поистине сатанинская роль, которую играло и продолжает играть спиртное в жизни русских писателей.

Осмелюсь утверждать: мешала деликатность, боязнь нечаянно замарать товарищей по труду. А вот американцы такие книги выпускают. И раньше других об этом во весь голос заговорил Джек Лондон, сам жестоко пострадавший от алкоголя, сошедший из-за него в могилу в цветущем возрасте. Его книга «Джон Ячменное зерно»

– горькая исповедь алкоголика, плач о загубленных силах и самой жизни, страстный призыв к людям остановиться, установить в обществе сухой закон.

Моя жизнь протекала в мире беспризорников, в многотысячной семье рабочих, в военном фронтовом братстве, а затем в пестрой, всезнающей всеумоющей семье журналистов и, под конец, в кругу писателей – людей по большей части одаренных, умных и действительно многознающих, но страдающих одним неприятным свойством: самомнением. На вид это свойство не выставляют, но чрезмерное понятие о себе вы почувствуете почти в каждом.

И это естественно, это даже и неплохо. Без веры в себя – может быть, и не всегда обоснованной, – большого труда не осилишь. Попробуй написать роман, не взяв себе в голову, что ты – мудрейший из мудрых и способен открыть человечеству глаза на известные только тебе одному тайны бытия.

Но вот что я заметил и могу свидетельствовать наверное: чем выше поднимался я из глубин общества, тем больше я ощущал запах спиртного. Алкоголь ко многим своим коварным талантам может прибавить и вот этот – может быть, самый опасный, – поражать в первую очередь и в большей степени наиболее культурный, развитый слой общества – служителей искусства, науки, литературы.

В беспризорном мире я жил в детстве от восьми до двенадцати лет: «мелюзга», «шпанка», «саган-сара...» Мы спиртного не знали, только видели, как пьют-гуляют взрослые воры. Потом – Сталинградский тракторный завод. Тут тоже пили мало, – на работе мы пьяных не видели. В армии, на фронте я был офицером – вначале в авиации, потом в артиллерии. Младшие офицеры пили редко, от случая к случаю, зато старших офицеров, генералов частенько видели пьяными. И вот журналистская среда – с дивизионки я шел до центральной газеты, до «Известий», – и тут была закономерность: чем выше, тем больше потреблялось спиртного. Отсюда судьба вынесла меня в мир писательский.

Как-то мне в «Известия» позвонил Иван Шевцов. Пригласил в ресторан «Метрополь».

За столом сидели маститые литераторы, Шевцов называл их: Архипов Владимир Александрович, профессор, автор многих книг по истории и теории литературы, заведующий кафедрой русской литературы Московского университета; Власов Федор Харитонович, профессор, близкий друг Леонида Леонова, автор книги о нем «Эпос мужества», ректор Московского областного педагогического института; Кобзев Игорь Иванович, один из известных и почитаемых русских поэтов...

Так я нечаянно, в один миг, шагнул в мир большой литературы, – и шаг этот был обильно омыт водкой, коньяком, винами... Пили лихо, много, – так, что и вспомнить из той первой беседы с маститыми мне сейчас нечего, то был пьяный бестолковый разговор, взаимные неумеренные комплименты людей, действительно достойнейших, умнейших, но в данном случае сраженных алкоголем.

Кто теперь знает, что людей этих одного за другим, безвременно сводила в могилу водка, – Архипов, Власов, Кобзев умерли, едва достигнув пенсионного возраста. По двадцать-двадцать пять лет отняла у каждого из них рюмка, отняла в то время, когда они набрали наибольшую силу и могли многое сказать своему народу.

Они умерли не от алкогольной горячки, – никто из них до такой степени не упивался, – но о каждом из них можно сказать: алкоголь измотал их сердце, и к шестидесяти годам оно уже не могло бороться с болезнями.

На руках друга, профессора Степана Ивановича Шешукова, умер в больнице Власов. Вначале у него был грипп, на его фоне развилось воспаление легких, – тучный и слабый сердцем Федор Харитонович метался в жару, а когда почувствовал приближение конца, схватил за руки сидевшего у его изголовья Шешукова и, блестя горячечными глазами, воскликнул:

– Степан! Я не хочу умирать, не хочу!

И уронил голову на подушку. Сердце остановилось.

На моих глазах угасал и второй замечательный человек, блестящий ученый, публицист, оратор, – «Грановским» называли его студенты, – Владимир Александрович Архипов. О нем разговор особый, – и надо бы написать книгу, – но здесь одно хочу сказать: судьба жестоко его избивала; у него сломалась семейная жизнь, в университете было много врагов, и они приписывали ему моральное разложение, исключили из партии, отставили от кафедр...

Сник под ударами судьбы этот богатырски сложенный, удивительно талантливый ученый-литератор. Я встречался с ним в последние дни, – он был хмур и замкнут, не хотел никого видеть и только говорил: «Жизнь кончена, кончена...» Болело сердце, держалось высокое давление. Он неохотно принимал врачей. Угасал. И за несколько дней до смерти я звонил ему, приглашал к себе, звал на юг, в санаторий. Он отвечал глухо и односложно:

– Да, да... Хорошо бы. Да вот уж... В другой раз.

И торопился прекратить разговор. Я тогда сказал:

– Приду к вам.

Он отвечал:

– Потом, потом, мой друг. Спасибо. До свидания.

Не умер, а как-то тихо, незаметно угас.

Бывало, отчаянно напивался Игорь Кобзев. Однако годам к пятидесяти, тесно сдружившись со мной, остановился, – вначале стал пить редко и помалу, а затем и вовсе перестал. Но двадцать пять-тридцать лет едва ли не каждодневных спиртных возлияний оставили след во всем организме: он часто болел, взрывался по пустякам, и это-то при стойкой гипертонии. Между тем, дела его устраивались к лучшему: он получил пенсию, чаще печатались книги. В издательстве «Художественная литература» в подарочном оформлении вышел большой том его стихотворений. В мае 1987 года, пасмурным вечером, у него заболела голова. Он перед тем поссорился с женой, остался на даче один и разболелся. Видимо, поднялось давление. К ночи приехала жена; во втором часу он почувствовал себя совсем плохо, схватился за голову, лег на постель, позвал жену. Сказал ей:

– Никогда так сильно не болела голова. Никогда!..

Жена разбудила соседей, вызвала скорую помощь. Врач осмотрел его, велел везти в больницу. Жена уложила его на носилки. хотела чем-то накрыть, но врач тихо ей сказал:

– Ему уже ничего не надо.

У него разорвался какой-то мешочек мозга. Так мне сказали. По-видимому, это была аневризма. Ему шел шестьдесят первый год. И никогда еще он так плодотворно не работал, никогда еще не воспринимал с такой радостью окружающий мир.

Я в то время уехал на Дон, в станицу Качалинскую, – он за несколько дней до смерти прислал мне три письма. В одном из них сильно жаловался на нелады в семье, просил меня отвести уголок в нашем домике на Дону, собирался приехать. Может быть, если бы приехал, остался жить.

Я не врач, ни на чем не настаиваю, но не пей он в свое время так много вина, жил бы и жил и поныне.

Не может не удивлять тот печальный и разительный факт, что в наше время алкогольного разгула, когда правительство из года в год наращивает производство спиртного, а народ вырождается от ядовитых возлияний, молчат ученые мужи, молчат журналисты и писатели. Нет у народа авторитетных заступников, таких, как раньше: Лев Толстой, Достоевский, Некрасов, Чехов... Или из ученых: Павлов, Пирогов, Мечников, Сикорский... Это они, и вместе с ними – армия патриотически настроенной русской интеллигенции, вступились за народ и вынудили Думу и царя ввести в стране в 1914 году «сухой» закон. И он продержался до 1925 года, почти полностью отрезвив народ, вдохнув в него исполинскую энергию. Но почему же ныне молчат писатели? И почему молчат академики? Ведь их тоже ныне легион! Интересно заметить, что ученые-медики царского периода, сплошь выходцы из дворян, выделили из своей среды десятки борцов за трезвость народа. Горячо протестовали против пьянства И. П. Павлов, Н. Е. Введенский, А. Я. Данилевский, В. В. Патушин, Н. Н. Зимин, химик и композитор А. П. Бородин, Д. И. Менделеев, Д. И. Заболотный, А. Ф. Гамалея, С. Н. Виноградский, Н. А. Семашко, И. А. Сикорский, И. Д. Сажин, А. М. Коровин, Н. И. Григорьев и многие другие, именитые, известные на всю страну люди. И с ними – писатели, поэты, ученые, государственные деятели. Это был набат, благовест просвещенной России. И царь, и министры услышали этот набат, не могли устоять против такого напора. Но ныне... Бьются женщины, крестьяне и рабочие, инженеры, учителя, врачи, – но не важные мужи науки, не именитые, олауреаченные, – нет, эти молчат, как в рот воды набрали. Отчего? Неужели не видят, не понимают? Но как можно не видеть и не понимать?

На Руси даже самые простые люди давно видят и понимают следы и последствия пьянства.

Русский интеллигент из Самары Михаил Дмитриевич Челышев, избранный в III Государственную думу, в 1911 году опубликовал письма, которые он получал из разных концов своей губернии. Нам бы хотелось показать, как сельские интеллигенты – учителя, священники, их жены – понимали тогда проблему пьянства, – тогда, в начале века, когда русские люди пили в три-четыре раза меньше, чем теперь. Приведем отрывок из одного письма:

«В Третьяковской галерее есть картины покойного Верещагина "Мертвое поле" и "Перевязочный пункт", они ужасны. Но во сколько раз ужаснее сцены кормления младенца пьяницей-матерью! Там – смерть во имя долга, за веру, за Родину, там – временные мучения, но там и покой вечный или возвращение к жизни без срама. А тут? Тут с каждой каплей молока передается яд и порок: в нежный организм младенца капля за каплей вливается яд. И кому же и от кого? От матери – своему младенцу-дитяте, может быть, так же нежно ею любимому, как и мы с вами любим своих детей. Но знайте: эта женщина менее виновна, чем мы с вами. Она больна, больна страшным недугом: она бессильна бороться; так поможем же ей. Уничтожим яд, которым отравляется она и ее потомство... Многие из вас говорят, что надо, во-первых, развивать народ, и тогда он перестанет пить. Это неправда. Надо уничтожить пьянство, то есть возможность напиваться, а тогда уже развивать народ. При гангрене сперва отсекают больной член, а потом уже залечивают рану. То же надо сделать и с пьянством. Ученость и развитие не спасают людей от этого отвратительного порока. Примеров тому тысячи. Разве умные ученые и развитые люди не предаются этому пороку? Не страдают от этой болезни? Да еще как пьют... до потери чести и имени, допиваются до каторги, до сумасшедшего дома. Масса сообщений и статистических данных заполняет газеты и специальные издания о всем, что происходит из-за проклятого зелья. Недаром наш народ говорит про водку, что водка есть кровь сатаны... Вы боитесь, что с уничтожением спиртных напитков падет доходность страны? Ах, господа, господа, да ведь эта доходность от акциза, от винной торговли не что иное, как перекладывание денег из одного кармана в другой, но только из крепкого – в худой... а какой от пьяницы толк стране и обществу? Пьяница солдат – не солдат, мастеровой – не мастеровой, крестьянин – не крестьянин. И так на всех ступенях общественной лестницы; пьяница – вредный человек, позор человечества...»

город Починки

Христорождественского собора свящ. Николай Васильев,  
бывшая учительница Н. Кириловская,  
жена свящ. Людмила Васильева,  
свящ. Петропавловской церкви Николай Мерцалов,  
жена свящ. В. Мерцалова,  
учительница Петропавловской школы Л. Свешникова  
и другие. Всего 56 лиц».

Обратите внимание: кто подписал этот изумительный, источающий боль сердца документ? Священники да их супруги, учителя... Из деревянного городка с юга Нижегородской губернии – из чащи лесов срединной России... Медвежий угол! А сколько мудрости в их письме, какая ясность, простота мысли и блеск стилия! Они видели, знали, понимали, жившие почти сто лет назад, наши бабушки и дедушки. Их теперь нет – ни одного! И можем ли мы им сказать: спите спокойно, родные русские люди, ваш голос мы услышали, ваш благородный порыв взошел семенами добра и правды?.. Нет, не можем. Одно лишь утешение: мертвые ни срама, ни стыда не имеют. Будь они живые, помрачнели бы их сердца при виде моря разлитого из вина и водки, затопившего землю российскую. И самое страшное: кет у народа заступников – ни из членов Государственной думы. ни из писателей и ученых мужей. Два-три профессора, да поэт Сергей Викулов. писатель Петр Дудочкин, – да и те скажут к слову, напишут статью, а так. чтобы, как Лев Толстой, статью за статьей, да гневное письмо царю, – бил во все колокола, – нет. таких наше время миру не подарило.

«Расцвели таланты!» – хвастались мы семьдесят лет, а надо бы сказать: «Сердца наши очерствели, и души почернели». Нет мужей высоких, честных, благородных – званий и медалей хватало много, а души лакейские. Смотрят в рот начальству, дрожат мелким бесом, – боятся, как бы куса жирного не лишили. Молчат сыны народные. Жалко, трусливо молчат!

Ну, а писатели? Могу свидетельствовать: все. кого я знал и знаю, – пьют; и пьют не так, как пили русские писатели прошлых поколений – выходцы из дворян, пьют «по-черному», до тех пор, пока не увидят дно бутылки.

Помню, как мы с поэтом Валентином Сорокиным зашли к Шевцову. Иван Михайлович, как всегда, на даче был один, организовал стол, угощение. Мы «обмывали» назначение Сорокина на должность главного редактора издательства «Современник». Пили много, а когда встали из-за стола и направились к выходу, Сорокин уже с улицы, покачиваясь, вернулся в комнату, и в раскрытое окно мы видели, как он поспешно вылил в стакан оставшийся в бутылке коньяк и допил его, – тяга к спиртному была уже в нем неодолимой. Я тогда подумал: «Как же он будет справлять такую высокую должность?»

Должность высокую Сорокин справлял недолго: его потом вместе с директором издательства Ю. Прокушевым уволили за какие-то злоупотребления. Кажется, это был первый случай в истории советского книгоиздания, когда от должности отставили сразу и директора, и главного редактора.

Русская интеллигенция советского периода слишком поздно ударила в колокола: мы только в начале восьмидесятых годов забили серьезную тревогу и вынудили правительство ввести ограничение на производство и продажу спиртного, и если затем очень скоро эти скромные шаги по отрезвлению народа были приостановлены, и команда благообразного Николая Рыжкова вновь открыла все шлюзы для спиртного, то, по моему убеждению, в том. что такой коварный скрытый геноцид народа вновь набрал силу, повинны и писатели – духовные пастыри и лидеры народа. Да. они молчали. Все семьдесят лет советской власти. Это о них. наверное, сказал в своем замечательном стихотворении поэт Н. Лисовой:

И Бога, и Родину пропили,  
Разрушили душу и храм.

В этих горьких, дышащих болью словах есть упрек и правителям, губящим интеллектуальную элиту своего народа.

Я мысленно оглядываю мир. в котором текла и течет моя жизнь, – мир литераторов, и невольно вопрошаю: а кто из них мог возвысить голос против пьянства? Я уже называл имена поэтов Игоря Кобзева, Владимира Котова, Алексея Маркова, Сергея Викулова, – у них есть стихи, бичующие алкоголь, но, чтобы назвать их борцами за трезвость, – к сожалению, не могу.

Не знал я трезвых писателей. Один только Леонид Леонов не пил совершенно.

В юности, а затем в армейские годы я литераторов не знал и не видел; кажется, впервые увидел писателя в Москве, в редакции «Сталинского сокола», куда я был приглашен работать. К нам побеседовать с журналистами пришел Михаил Бубеннов – автор романа «Белая береза», который будто бы любил Сталин. О нем уже тогда говорили: «Хороший мужик, и роман написал отличный, но – пьет здорово».

Михаил Семенович Бубеннов поначалу меня разочаровал, он был прост, всем почтительно кланялся и на предложенный ему стул опускался неуверенно, будто боялся кого-то стеснить, помешать. И рассказывал робко о том, как на фронте, урывками между боями, писал свой роман.

Потом, работая в «Известиях», я слышал забавные рассказы о нем, о его баснословных гонорарах за многочисленные переиздания «Белой березы», и о том, как он много пьет, не пьянеет и может перепить кого угодно. Будто он, большой, красивый, в новеньком дорогом костюме, приходил время от времени в журнал «Октябрь», где состоял членом редколлегии, сидел там то в одном отделе, то в другом, – слушал редакционные и литературные новости. Молодые сотрудники, давно знавшие его, любившие выпить, но не имевшие денег, исподволь подступались к нему:

– В ресторане «Советский»... готовят хорошо. А, Михаил Семенович?.. Как вы?

– Да я не пью, ребята, завязал.

– Мы тоже не пьем, да ведь не монахи, хоть и редко, а надо же.

– Нет, не люблю рестораны. Там пить надо.

– Ах, Михаил Семеныч! Если кто не хочет, так и не пей. Закажем бутылку для вида. и пусть себе стоит посреди стола. А мы пообедаем на славу. Опять же. и поговорить есть о чем.

– Ну, если так...

Редакция чуть ли не в полном составе собирается, впереди всех – заведующий отделом критики Николай Сергованцев, доказавший еще с Литературного института свою неодолимую любовь к Бахусу, – и тесным кружком идут к ресторану «Советский», в прошлом – «Соколовскому яру». Зная финансовые возможности Бубеннова, эта литературная братия проявляет неожиданный размах в заказах блюд и спиртного.

Бойко разливают...

Бубеннов прикрывает ладонью свою рюмку:

– Нет, ребята. Я – пас.

– Ну, налить-то же надо! Нельзя же так – с пустой рюмкой!

Наливают. И – к Бубеннову:

– Михаил Семенович! Одну только. Ну, так-то, насухую, – негоже.

– Разве что одну...

Выпивают. Потом эта операция повторяется... И в третий раз, четвертый. А уж дальше разговоры переключаются на другую тему:

– Ты меня уважаешь?.. Я знаю, друг, спасибо, ты меня уважаешь, а вот он... Нет, не уважает.

И наклоняется к соседу:

– Ты мне скажи: почему ты меня не уважаешь?.. Заказывают новые бутылки. Пьют, пьют. И Михаил Семенович пьет со всеми вместе. И уж никто его не уговаривает. И к нему не обращаются с вопросом: «Вы меня уважаете?» Знают: нелепо ждать им уважения от такого большого писателя. И он никого не пытается. Знает: и без их уважения проживет как-нибудь. А вот пьют все поровну. И Михаил Семенович видит. как один клюнул носом над тарелкой, другой – привалился к соседу, а тот – сполз со стула... И уж Сергованцев, самый стойкий и до водки лютей, безвольно повесил над столом льяную головушку и смежил свои синие наивные глаза... Все упились, Бубеннов расплывается. Просит официанта вызвать такси и развезти всех по домам. Сам же, не качнувшись, направляется к выходу.

Про себя думает: «Жидкий народец, эти молодые литераторы».

Много позже Андрей Блинов, заведовавший в «Профиздате» прозой, попросил меня написать послесловие к новому роману Михаила Бубеннова «Стремнина». Я написал, и, когда вышел роман. Бубеннов позвонил мне, сказал: «Так тепло и хорошо обо мне еще никто не писал». Пригласил нас с женой в гости. Так, через много лет после его беседы с нами в «Сталинском соколе». мы снова с ним встретились. Пришли к Бубенновым на квартиру в Лаврушинский переулок, в дом, что стоит напротив Третьяковской галереи. В нем живут многие наши выдающиеся литераторы. Квартиру Бубеннову подарил Сталин, – в своих биографических записках «Последний Иван» я, кажется, описал, как это произошло. Квартира большая, по длинному и широкому коридору можно кататься на велосипеде, в кухне могут разместиться диван, шкафы и многое другое. Показывая ее нам, супруга Михаила Семеновича, Валентина Ивановна, заметила, что я изумленно разглядываю стену с многочисленными полками, на которых рядами стоят никелированные, хромированные предметы. Сказала:

– Ах, это Михаил Семенович... Он ходит по хозяйственным магазинам и покупает все, что блестит и крутится.

Я вспомнил рассказы о его гонорарах... «Белая береза» переводилась на многие языки, издавалась несчетно раз – у нас, в стране, и за границей.

Михаил Семенович принимал нас в своем кабинете. Мебель тут была старая, массивная, на полу лежал ковер во всю комнату. Бубеннов писал свой последний труд – воспоминания сибирских лет жизни. Писал он медленно, трудно, очень не любил рыхлого, скороспелого письма. Да, его роман о войне и романы о жизни пятидесятых, шестидесятых годов – «Орлиная степь» и «Стремнина» – написаны языком поэтичным, высокохудожественным. О нем молчала пресса, он не ходил ни на какие собрания, – как истинный талант и самобытный человек «сидел в

потемках». «Желтые» газеты его ненавидели, литературные вожди о нем забыли, – лишь бы сидел этот сибирский медведь в своей берлоге и их не тревожил.

В разговоре я пытался выяснить его отношение к современной литературе, к отдельным авторам. Судил он строго, наотмашь.

– Нынче в ходу не писатели, а литературные генералы. Если конкретно о ком – скажет:

– Сырье выдает, не работает над словом.

Тогда много говорили о Шевцове, авторе знаменитой «Тли». О нем сказал:

– Жалко мужика, темы забирает серьезные, а язык рыхлый.

Зная, что Шевцов мой товарищ, спросил:

– Сколько он работает над романом?

– Полтора-два года.

– Ну, вот. А мне роман едва в пять-семь лет дается. Я многие страницы по четыре раза переписываю, а когда весь роман сложу, еще раза три его переделаю.

Может быть, потому за долгую свою литературную жизнь он написал всего лишь три романа. Впрочем, злую роль сыграла тут и водка. Много он выпил ее на своем веку. А на этот раз хотя и выставил на стол спиртное, но сам не пил. Что-то у него болело.

Мы потом и еще встречались, а однажды мне позвонила Валентина Ивановна, с плачем рассказала:

– Михаил Семенович в больнице, ему сделали операцию. но лучше не стало; он лежит, отвернувшись к стене, не пьет, не ест и ко мне не поворачивается.

Как раз в это время у меня гостили Федор Григорьевич Углов и его жена Эмилия Викторовна. Я попросил Углова посетить Бубеннова, посмотреть, как там его лечат.

Михаил Семенович лежал в особо привилегированной больнице на улице Грановского, где лечат министров и прочих тузов. Мы едва к нему прошли, – Федор Григорьевич себя не назвал, иначе бы все всполошились.

В палате Бубеннов лежал отдельной, в углу стоял цветной телевизор, у койки – телефон. Умирали тут с удобствами. Больной на наш зов не откликался. Федор Григорьевич повернул его к себе, спросил, что болит у него, как он себя чувствует. Бубеннов отрешенно и почти бессмысленно смотрел то на него, то на меня. Я сказал:

– Это Углов, хирург из Ленинграда, академик.

Михаил Семенович оживился, показал на послеоперационный шов на животе, сказал:

– Болит.

Федор Григорьевич осмотрел шов, пригласил лечащего врача. Пришел хирург – молодой, с печатью тревоги на лице.

– Вы делали операцию?

– Да, Федор Григорьевич. Операция проходила сложно, я делал анастомоз. Видно, плохо приживается.

– Больной имел лишний вес?

– Да. И значительный.

– А почему же после операции не наладили бандаж, широкий ремень? Складки живота тянули шов, и операционное поле воспалилось.

Не заметили, как возле нас появился главный врач больницы. Это был сравнительно молодой человек в светло-желтом шелковом халате. Ему доложили, что больного осматривает академик Углов, и он был страшно недоволен.

Представился Углову, согласился с ним:

– Да, Федор Григорьевич, вы правы. В этом случае нужен бандаж. Сам не проследил, и вот, пожалуйста, осложнение.

Федор Григорьевич дал необходимые рекомендации, подбодрил Бубеннова. и мы ушли. Валентина Ивановна потом мне звонила, просила благодарить Углова. Михаил Семенович поправлялся.

Он выписался и жил после этого еще лет десять. Умер он от другой болезни, – но и болезни желудочно-кишечного тракта, и новая болезнь были следствием его длительного пьянства. Не пей он вина, жить бы да жить этому сибирскому богатырю, и, конечно же, написал бы он во много раз больше.

Другой писатель, которого я близко знал, – Камбулов Николай Иванович. С ним мы вскоре после войны начинали работать в газете военно-воздушных сил «Сталинский сокол». Некоторое время я работал в его отделе, был его подчиненным, – работалось с ним в удовольствие. Он был всегда ровен, никогда и никому не показывал

дурного настроения. Но главное: Николай Иванович писал рассказы, и они чем-то напоминали шолоховские. Камбулов тоже был с Дона, и язык его героев, быт и нравы несли аромат казацкой жизни, и я очень гордился тем, что работаю под началом писателя. Все прочили ему завидную судьбу в литературе. Между тем, из газетчиков нашего времени редко выходили писатели. У иного и был талант, но если журналист долго задерживался в газете и не писал для нее очерков, рассказов, а поставлял шаблонные статьи и заметки, то очень скоро газетно-брошюрный стиль, выработанный революционерами, которые сплошь были не русскими, не знавшими, не понимавшими всех оттенков русского языка, – этот подсушенный, воробьино-сорочий гвалт, который был до совершенства доведен Лениным и выдававшийся нам за образец современного русского языка, въедался в каждую клетку мозга и для большинства газетчиков становился единственным инструментом выражения.

С этим языком выходили на литературную арену иные «смелчаки» и становились писателями. Чаковский, Гранин, Катаев, Симонов... «Желтая пресса поднимала на щит их имена, литературные вожди – они сплошь из них же! – забрасывали их лауреатскими медалями, – и вселенская шумиха порождала массовый гипноз, люди раскупали их книги, читали, читали, но... не находили в них ничего значительного, и они, эти авторы, валились в бездонный колодец забвения, едва прекращался шум об их книгах.

Камбулов этот язык не воспринимал; он вскоре написал одну книгу, вторую и ушел из газеты на «вольные литературные хлеба».

Одно было плохо: он много пил. Я раньше его оставил газету, жил на даче, – и ему помог купить дачу у себя в поселке, у генерала Невзорова. Мы теперь жили по соседству и обрадовались возобновлению дружеских отношений, часто ходили друг к другу, но вскоре заметили: есть между нами преграда – бутылка. Как ни придешь к ним: «Давай выпьем». Если они к нам зайдут: «Налей». Наливали. Для меня наказанием было даже выпить одну рюмку. Возникла неловкость. Камбулов не то в шутку, не то серьезно говорил:

– Не верю я, чтобы ты, здоровый мужик, и – не пил. Поди ведь, сосешь под одеялом, а тут дурака ломаешь.

Лихо опрокидывал в рот полстакана, затем еще, и еще... Язык становился развязным.

– Ты, Иван, живи, как все, чистоплюя из себя не корчи: чистенького тебя не примут писатели, и критики заклюют. Не любят у нас ханжей. Литература, она как колесо тележное, без смазки не идет. Опять же, редакторов надо ублажить, рецензентов. Я, вот видишь, все печатаю, что ни напишу. А почему? Половину гонорара на пропой пускаю. Так и говорю редактору: выписывай аванс – пить будем. Ну, а если уж аванс выпишут, – тут им отступать некуда.

Я читал все, что выходило из-под его пера. Действительно, печатался он без помех, получал высокие гонорары, и высшую Военную литературную премию получил. Но в книгах его я не находил ни серьезных проблем, ни ярких образов. Все как-то бледно и едва очерчено. И язык ранних его рассказов – сочный, богатый – все больше бледнел, а затем и совсем потускнел. Стиль его становился многословным, свет мысли едва просверкивал. И среди литераторов никто его книги не принимал всерьез. О них ничего не говорили. Отмечали лишь, как ловко устраивал он в печать свои произведения. Даже термин такой родился: «камбулизм», то есть ты – мне, а я – тебе, ты мне гонорар, и я тебя не забуду.

Под конец своей литературной карьеры написал он роман о земляках – донских людях, которых хорошо знал и помнил. И когда роман напечатали, ждал отзывов, хвалебных статей. Но их не было. Он однажды зашел ко мне, сказал:

– Отнеси роман Полянскому, пусть почитает.

Дмитрий Степанович Полянский был членом Политбюро и министром сельского хозяйства. Случилось так, что он, прочтя мой роман «Подземный меридиан», позвонил мне на работу, – и в тот момент, когда у меня сидел Камбулов. Дмитрий Степанович долго и хорошо говорил о романе, а затем пригласил меня к себе познакомиться поближе. Камбулов решил использовать это знакомство. Я сказал:

– Извини. Николай, но роман ему предлагать не стану. Человек он занятой и читать может немногие книги.

– Ну, и вот... пусть почитает. Роман-то о сельском хозяйстве.

Я вынужден был сказать, что роман его не считаю заметным произведением и не могу рекомендовать Полянскому.

Камбулов обиделся, но, впрочем, ненадолго.

Пил он все больше. Жена его Марина от него не отставала. Бывало, если завернешь к ним и они обедают, – посреди стола бутылка. Предложат выпить. Откажешься – обида. Николай Иванович, блестя повеселевшими глазами, скажет:

– Не куришь и не пьешь – здоровеньким помрешь.

Не похож был Николай Иванович на того прежнего моего начальника. Шел от него и думал: и писал он раньше лучше, деликатен был до щепетильности, порядочен... Неужели водка так меняет человека?..

Заболела Марина. Едва дотянула до пенсии и – занемогла. Пить перестала. Вечерами выходили на лужайку, вспоминали молодость. С предсмертной тоской говорила:

– В будущем году меня с вами не станет. Не вспоминайте лихом. Если чем и обидела, так уж простите.

Мужу советовала после ее смерти дачу переписать на старшего сына Геннадия, а самому жениться на ее подруге Соне.

Так он и сделал. И однажды пришел ко мне на усадьбу. Сели мы с ним в беседке. Он вдруг расплакался. Рассказал:

– Приехал на дачу с новой женой, а сын говорит: зачем ты с ней приехал? Не хочу ее видеть.

Посидел с минуту, успокоился, продолжал:

– Вот они, дети. Я для них все сделал: каждому купил квартиру, машины, а сын меня на мою же дачу не пускает.

Попросил вина.

– Хотя что-нибудь дай, – у тебя коньяк всегда был. Дай, Иван, не могу я, душа горит.

Вскоре его поразил инсульт. Еще молодой мужик, а уже развалился на глазах. Ходил с палочкой, голова тряслась. Учился заново писать. А зимой его перевезли в Москву на квартиру. Он мне звонил каждый день, едва внятно говорил: «Я еще живой, Иван, а они деньги мои делят, с последнего двухтомника гонорар рвут».

Потом молил:

– Иван, помоги. Забери куда-нибудь. Жена моя каждое утро со словами: «Сдох бы скорее!» хлопает дверью и уходит. У нее сын полковник, квартира им моя нужна. И деньги. Помоги, а?..

Новая жена его, в прошлом машинист метро, женщина грубая, волевая, удары рассчитывала точно. Несколько таких «ласковых» пожеланий, и он... однажды мне не позвонил. Вечером сын сообщил: «Отец умер».

Любопытно заметить, что сильно пьющие писатели, а точнее сказать, алкоголики, со временем разительно меняются в характере. Больше двадцати лет мы с Шевцовым были самыми близкими друзьями. Он мне помог перейти из газеты в журнал и для семьи был лучшим другом. Моя жена Надежда Николаевна, ныне покойная, говорила: «Из всех твоих друзей Иван – самый верный».

И вправду: на редкость душевный, честный и самоотверженный был этот человек. Охотно во всем помогал и сил для товарища, и времени не жалел. А уж что до его остроумия, – оно было известно многим. На вечерах его неизменно выбирали тамадой. На собраниях выступит – всем запомнится.

Интересна у него манера писать. Романы свои он писал на больших, в полстола, тетрадах. Почерк красивый, пишет быстро и без помарок. Бывало, войду к нему незаметно – он пишет. И так быстро, что, кажется, чернильные брызги летят. И не остановится, не задумается. Похоже было на то, что в голове у него большая бабина, на нее плотными слоями нанизаны мысли, и он их быстро и безостановочно разматывает.

Оставляя меня на ночь, укладывал на диван, просил слушать. Читал только что написанные главы, читал громко, как артист. явно любясь написанным. И действительно, все у него было складно, логично. Впрочем, замечал я и места слабые, рыхлые. Советовал поджать, отделать фразы.

– Нет! – возражал он решительно. – Тут все на месте.

По-моему, он никогда и ничего не отделявал. Сдавал в печать в таком виде, как сразу написало.

Поражала меня его память. Дойдя до страницы пятисотой или шестисотой, он помнил, что тот или иной персонаж говорил на странице двадцатой или семидесятой. Память – главная черта романистов. Я знал многих талантливых писателей, которые превосходно писали рассказы, но за повесть и, тем более, за роман не брались. Юрий Грибов, секретарь Союза писателей СССР, мне говорил: «Меня страшит большая форма – терпения не хватает. Я и за очерк-то большой сажусь неохотно, – пока-то его напишешь». На самом же деле большинство писателей боятся сложности, многоликости сооружения, – их память не может удержать все связи, все логические посылки и мотивировки.

Такой мощной памятью обладали Михаил Семенович Бубен-нов, Алексей Кузьмич Югов, которого я тоже хорошо знал, и, конечно же, Иван Шевцов.

И все-таки... Шевцов страдал излишней самоуверенностью, явно переоценивал все, что он писал. Нежелание возвращаться к написанному, пахать и перепахать уже вспаханное привело его к большой творческой драме: его романы отмечены рыхлостью сюжета, малым числом ярких запоминающихся мест. Проблемы он всегда поднимал важные, поток информации льется со страниц его произведений обильный, но редко-редко встретится колоритный образ, запоминающееся лицо, – герои и персонажи его книг бледны и схематичны. За эти-то слабости и ухватились его критики. И хотя друзьям его было ясно, что ярость критиков вызвана остротой поставленных в его книгах проблем, смелостью и отвагой автора, но даже среди самых близких друзей Шевцова все больше укреплялось мнение о слабости изобразительного арсенала шевцовского стиля.

И вот какую зависимость я наблюдал: пил он со временем все чаще – почти каждый день – и писал все торопливее, и образы у него выходили все бледнее, а уж в последних романах они и вовсе слабы. И характер его становился раздражительным, и нрав уж не таким легким и веселым, – он уж мог и не сдержать своего слова, и в чем-то не помочь другу, – бледнели его книги, улетучивался ореол его прежнего обаяния, тускнела личность. К шестидесяти годам он часто стал болеть, становился брюзгой и ворчуном. И пропорционально падению всех его



достоинств возрастали его амбиции; он жадно ловил комплименты в свой адрес, скупое оценивал успехи товарищей, – все больше стремился в общество любителей выпить и тех, кто его хвалит и с почтением слушает.

Отсутствие в человеке скромности и внимания к другим неприятно утомляет, а подчас вызывает активный протест. Однажды к Шевцову на дачу приехал седой, представительный, с печатью мудрости на лице генерал. Еще до войны они вместе с Шевцовым начинали службу на западной границе, были начальниками погранзастав. Теперь генерал начальствовал над большим погранрайоном на Дальнем Востоке. Я застал их за обедом, они изрядно выпили, наперебой вспоминали минувшие годы. Шевцов позволял себе демонстративно излишнюю фамильярность, говорил примерно в таком стиле: «Ну, Колька, черт! Однако же, мерзавец. куда хватил! Ах, ты, сукин сын, ах, подлец!..»

Генерал под натиском такого красноречия говорил все меньше, мрачнел, а потом поднялся, сказал:

– Я даже в шутку не позволяю обращаться со мной в таком роде.

И стал собираться. И как Шевцов ни извинялся, ни удерживал его, генерал, сухо простившись, ушел.

На меня эта сцена произвела неприятное впечатление.

Людам, не обладающим тактом, не получившим хорошего воспитания, слава и успехи кружат голову. Шевцов стал знаменитым сразу. Едва был напечатан его роман «Тля», как о нем заговорили. Печатались разгромные статьи в центральных газетах. Но безудержная брань в адрес писателя всегда вызывает интерес к нему и сочувствие. Его роман стали искать, его нарасхват читали. В редакции газет и ему лично посыпались письма с возмущением в адрес критиков, читатели разделились на два лагеря: одни его ненавидели, другие восхищались, называли его мужественным борцом за правду, и тут же, в пылу восторгов, наперебой хвалили роман не только за смелость, но и за выдающиеся художественные достоинства.

К сожалению, как раз этого-то в романе и не было. И если сам автор поначалу скромно оценивал свой роман, то теперь он все больше верил в собственный талант и в то, что он действительно написал высокохудожественную книгу.

Слава и лесть – родные сестры и сестры-обольстительницы. они быстро туманят голову, уводят человека туда, где его ждут большие разочарования. И только сильный ум, могучая натура могут противостоят соблазнам славы. И такой ум, такую натуру в молодости имел Шевцов, и я видел его умным, сильным и красивым. Но на моих глазах хмель отнимал у него все лучшие свойства характера; он слабел, мельчал и превращался в заурядного старца.

Воображаю, как вскинутся на меня братья-писатели: отступник! Предатель! Мы его дарили дружбой, а он нас вон как ославил!..

На это позволительно будет привести выражение мудреца: «Правда светлее солнца». Мы слишком долго скрывали свои пороки. чтобы еще и теперь, когда государство российское темными силами, в том числе и нами, русскими литераторами, приведено к черте вселенского позора и когда детям нашим, оглушенным ритмами адской музыки и сатанинской прелестью порнографии, приходится краснеть за деяния отцов, – теперь-то уж пора и приоткрыть завесу. Речь идет о судьбе народа. Какие уж тут церемонии?

Отступники и предатели – те, кто закрыл глаза на самую страшную для народа опасность, кто оставил его в беде и делает вид, что ничего особенного с ним не происходит.

Писатель, если он даже средний, несомненно наделен талантом, а талант – это еще и ответственность. Если тебя одарила мать-природа, если тебя выучил народ и создал условия для творчества, – можешь ли ты предаваться пьянству и не выполнять своего главного долга – указывать людям на грядущие беды?

Талант – не твое лишь достояние, он – сокровище общее, и развить его помог тебе народ, – так можешь ли ты, наделенный талантом, равнодушно смотреть на судьбу Отечества?

Я убежден: если ученый, артист или писатель предается пьянству, он вдвойне совершает преступление. Прежде я так не думал. Во время войны служил в авиации, артиллерии, – нам не давали знаменитые фронтовые сто грамм, а купить спиртное было негде. Бутылка самогона стоила восемьсот рублей, – где наберешься денег! Но сразу же после войны государство с коварной услужливостью стало заполнять полки магазинов вином и водкой, и офицерство, получавшее, в отличие от солдат, зарплату, стало постепенно приобщаться к спиртному. Я не был исключением и тогда и потом – в среде журналистов и писателей. Тут уж без спиртного не проходила ни одна встреча с друзьями, и даже когда учился в Литературном институте, студенты, полагая, что количество выпитого пропорционально степени таланта, пили, где только можно, когда только можно и сколько можно.

Меня, правда, Бог берег от объятий литературной богемы: уже тогда я имел семью, нам с женой надо было кормить двух дочек и престарелую мать, – денег лишних не было, а «стрелять» и «цыганить» рюмку не в моем характере. Пил редко, мало, – хотя, впрочем, если выдавался случай, от ендовой не бежал.

Позже, слава Богу, стал задумываться о пагубе спиртного, а затем, познакомившись с академиком Угловым и с Геннадием Шичко, я полностью отказался от алкоголя и стал абсолютным трезвенником.

И вот какие метаморфозы происходили вокруг меня: на меня стали косо смотреть мои прежние товарищи-литераторы. Нас, писателей, в Семхозе, под Троице-Сергиевой лаврой, жило примерно двадцать семей. Тесно дружил я с Сергеем Поделковым, Владимиром Фирсовым, Игорем Кобзевым, Иваном Акуловым, Николаем

Камбуловым, Валентином Сорокиным, Борисом Орловым, критиком Виктором Чалмаевым, Сергеем Высоцким. Но вот стал замечать холодные приемы, злые шуточки в свой адрес. Жене своей говорил:

– Сердца друзей моих холодеют, дружба слабеет, – вот Камбулов встречается ехидной усмешечкой, а нынче и Шевцов встретил как-то прохладно.

Надежда моя, во всем удивительно прозорливая, сказала просто:

– Ты им пить мешаешь.

– Да неужели? – вскинулся я. – Я им добра хочу, от пьянства отговариваю!

– Вот, вот... А уж этого они особенно не любят. Нашел пьяниц! Да они тебя за такие вещи побить еще могут!

Сложен мир творческого человека, много более носит под сердцем писатель, но даже и среди этой категории людей поэты отличаются наибольшей чувствительностью, более тонкой и сложной структурой психической организации. Может быть, именно потому поэты быстрее других попадают в коварные сети алкоголя. Они беспомощно барахтались в этих сетях, страдали и погибали на глазах родных и товарищей, их скорбные измученные лица взывали к состраданию, молили о помощи, но, как только вы поспешали к ним с этой помощью, они от вас бежали. Мольбы и просьбы жен, матерей, советы друзей – призывы к трезвости, благоразумию – отвергались с порога, а то еще и сопровождалась обидой, воспринимались, как вмешательство в личную жизнь, стремление уязвить самолюбие.

На моих глазах пили и спивались многие поэты, однако никто из нас, из друзей, не смел упрекнуть их в этом: нельзя, не принято.

Приехал я в 1953 году в Констанцу, в редакцию нашей военной газеты, на смену молодого журналиста, известного уже в то время поэта. Поощажу его фамилию, – ныне он покойный, не нарушу русскую православную традицию, – однако скажу: искрометно талантлив был молодой офицер, и судьбой, характером был он похож на Лермонтова, но, в отличие от юноши, возвысившего славу России, пил беспримерно и стихи писал лишь в редкие часы просветления. А пьяный чего только ни вытворял: то в парке под деревом на ночлег устроится – румынский милиционер тогда документы его, деньги и пистолет на хранение возьмет, то в сильном опьянении взберется на пьедестал к стоявшему там сотни лет Овидию, скажет: «Подвинься, брат, ты постоял уж тут довольно!» Пивные в той стране назывались бадегами, и больше всего их было на главной улице Мангалии, так поэт, передавая мне письменный стол, жирными чернилами на нем начертал: «Мангалия, Мангалия, бадега и так далее». Шутка хотя и остроумная, но намек в ней содержался грустный.

Вернулся поэт в Москву и вскоре сгинул. Разное говорили мне об обстоятельствах его смерти, но одно действующее лицо присутствовало во всех рассказах – алкоголь.

Кажется, ему не было и тридцати.

Когда говорят: «Нет у нас больших талантов, не народил их в нашем веке русский народ», – мне так и хочется сказать: «Были у нас таланты, много талантов народил русский народ, да не развились они, вернее, не дали им развиться...»

При этом вспоминаются мне до боли знакомые лица, таланты редкие, удивительные – Ваня Лысцов, Саша Говоров, Николай Рубцов, Паша Богданов. Поэты постарше: Борис Ручьев, Алексей Фатьянов, Алексей Недогонов, Василий Федоров... И уж чего тут лукавить, чего скрывать от людей, – теперь-то уж, когда страна сорвалась с обрыва и летит в пропасть, а нам, растерянным и испуганным интеллигентам, народ говорит: «Где же вы были?.. Почему вовремя не забили тревогу, не говорили правду?» Теперь-то уж признаемся: пили много наши поэты, иных не грех и алкоголиками назвать, а пьяному, известное дело, – до борьбы ли ему? Водка помрачала разум, убивала бойцовский дух. Стихи писали и прозу писали, – много книг выпустили, но о чем эти книги? Какую правду несли народу? Вот в чем вопрос.

Когда я думаю о сильно пьющих братьях-литераторах, вспоминаю их лица, как-то сами собой невольно приходят на память стихи из «Современной песни» Дениса Давыдова:

Был век бурный, дивный век,  
Громкий, величавый;  
Был огромный человек,  
Расточитель славы.

То был век богатырей!  
Но смешались шашки,  
И полезли из щелей  
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,  
Всякий обирала.  
Модных бредней дурачок.

Корчит либерала...

...Нет, он в битвах не бывал -  
Шаркал по гостиним  
И по плацу выступал  
Шагом журавлиным...

...И весь размежеван свет  
Без войны и драки!  
И России уже нет,  
И в Москве поляки!

Стихи привел на выбор, в сокращении, но и в таком виде они звучат пророчески.

Таких стихов у наших поэтов вы не найдете, а если встретите – редко-редко. У поэтов-пьяниц их не ищите, зато количеством продукции они не отстают от трезвых.

Работая в издательстве, я вынужден был почти ежедневно прочитывать верстку новой книги перед выходом ее в свет. Много встречал авторов одаренных, умеющих круто замесить сюжет и красочно живописать лица, характеры. И редко-редко встречались повести, рассказы и романы, в которых бы выплескивалась боль народная, обличались пороки общества, насаждаемые власть имущими. Было такое впечатление, что певцы поют, голоса у них хорошие, но... стоят они на коленях. А между тем, зло обличать могут бойцы отважные, сыны народа верные, патриоты отчаянные... Где эта смелость у поэта пьяненького, вечно алчущего новой рюмки? Какой же патриотизм вы найдете у человека, чей мозг десятками лет отравлялся алкоголем?

Не говорю о ком-либо в отдельности; упрек нацелен в общий строй вышедшей из народа творческой интеллигенции, – это о ней поэт Кобзев сказал: «Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него».

Не потревожу священных могил, не трону имен праведных, поэтов мужественных, больших и славных, – слава Богу, были у нас, есть и теперь такие. Мои друзья любезные – Игорь Кобзев, Владимир Котов, Борис Ручьев, Алексей Марков, поэт и великий гражданин Сергей Викулов... Поэзию создавали могучую и гибельность пути показывали, истинное лицо противника называли... И все-таки не было у нас пророка, духовного лидера. Не было поэтов, чья каждая строчка, сродни некрасовской, дышала бы любовью к Родине, призывом к борьбе и, подобно прожектору, освещала бы тот единственно правильный путь, с которого народ наш неожиданно и гибельно свернул в 1917-м. И, как мне думается, в еще большую трясину устремился в 1985-м. Такого поэта в нашем Отечестве из моих современников не было.

Наблюдал я и поэта Первого, – таковым у нас называли Александра Твардовского. Много лет мы работали под одной крышей в здании «Известий», где находилась и редакция журнала «Новый мир». И редко видел его трезвым: всегда в подпитии, и частенько в сильном. Особенно, если встречал его не утром, а днем.

Не могу утверждать: был ли он первым поэтом или нет, – мне, к примеру, больше нравились стихи Игоря Кобзева, Владимира Котова, Николая Рубцова, Бориса Ручьева, Алексея Маркова, Сергея Викулова – впрочем, ученые лучше знают, кого считать первым, кого восьмым, десятым. Окончательно на эти вопросы ответит время. В последние годы своей жизни Твардовский ничего, подобного «Василию Теркину», не написал. А если взять Пушкина, Лермонтова. Есенина. Некрасова, Кольцова, Никитина – у них каждое новое стихотворение или идет вперед по совершенству или стоит на уровне предыдущих. Поэт всегда поэт, талант всегда талант. Перефразируя известную поговорку французов, можно сказать: если есть талант, то есть. И всегда есть. А не так, чтобы вчера был, а сегодня – нет.

Но в чем же дело? Откуда в наше время взялось такое поразительное, труднообъяснимое явление? Вчера талант был, а сегодня убывает, а завтра, послезавтра, глядишь, и весь вышел?

Наверное, стоит прислушаться к мнению академика Федора Углова: на вскрытии у долго пьющих людей наблюдается сморщенный мозг, похожий на поверхность печеного яблока.

Скажут: бросает тень на Твардовского!

Другие станут утверждать: не так уж много он пил.

Обратимся к свидетельству людей, близко знавших Твардовского, например, к Солженицыну. Газета «Советская Россия» 26 октября 1991 года напечатала большую статью Роя Медведева «Твардовский и Солженицын».

В своем «Теленке» Солженицын много пишет о Твардовском, отмечает его высокие духовные качества: благородство, честность, врожденный такт. Но через каждые двадцать-тридцать страниц изображает и сцены пьянства поэта: «...тяжелыми шагами спустился он со второго этажа в нижней сорочке с мутными глазами».

«Руки его тряслись не только от слабости, но и от страха».

«И обречен был Твардовский падать духом и запивать от неласкового телефонного звонка второстепенного цекистского инструктора и расцветать от кривой улыбки заведующего отделом культуры».

И дальше: «Новый мир» велся «непостоянными и периодически слабеющими руками».

Возражая Солженицыну, автор статьи восклицает: «Нет, Твардовский вел свой журнал уверенно и твердо».

Оставим в стороне спор литературный, укажем лишь автору статьи на явное противоречие в его рассуждениях: может ли иметь твердые руки и ясную голову человек, пьющий едва ли не каждый день? Ведь сам же автор статьи утверждает: «Да, Твардовский иногда запивал и, бывало, надолго».

Иногда запивал... Может быть, в запой ударялся иногда, но в те, шестидесятые годы, о которых идет речь, я видел его почти ежедневно и редко – трезвым. Но ведь алкоголь, как теперь известно, держится в клетках организма, – и. прежде всего, мозга, – больше двух недель. Значит можно утверждать: в последние годы, может быть, десятилетия, Твардовский всегда находился под воздействием алкоголя, когда и глаза неясные, и сердце нездорово, и руки подрагивают, а что уж до ума – тут и говорить нечего. Наконец, и сам он однажды признался: «Ведь я не пью, когда пишу, и потому пишу так мало».

«Вино мстит пьянице», – говорил Леонардо да Винчи. И самая страшная месть – порок этот передается потомству.

Однажды к Геннадию Шичко обратился за помощью статный, красивый юноша. Его одолевала страсть к алкоголю. Это был внук Александра Твардовского. Шичко долго с ним занимался и – победил пагубную страсть.

Жаль, что судьба не свела в свое время двух великих русских людей – Александра Твардовского и Геннадия Шичко, подарившего миру надежный способ отвращения людей от алкоголя и наркотиков. Питерский чародей не пожалел бы никаких трудов, чтобы отвратить беду и продлить жизнь автору «Василия Теркина».

Когда думаешь о Твардовском, о его преждевременной гибели, то невольно приходят на ум слова Некрасова: «Братья-писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое».

Замечу тут кстати: мои товарищи по литературному труду – знакомые мне и не знакомые поэты и писатели, задыхающиеся в тяжких объятиях алкоголя, имеют счастливую возможность стать трезвыми и вновь зажечь здоровой полнокровной жизнью, – последователи Шичко успешно работают почти в каждом городе.

После выхода в свет моей книги «Геннадий Шичко и его метод» многие читатели звонят и пишут: «Прочел Вашу книгу и перестал пить». Многие, но не все, и даже не большинство читателей. Может быть, с выходом в свет еще и этой книги читателей, бросивших пить, станет больше.

Ничего в жизни не желал бы я так сильно, как увидеть трезвыми всех наших писателей, а там, дальше, и всех людей на свете.

Автор статьи «Твардовский и Солженицын», следуя нашим традициям не говорить пьянице о том, что он пьет, в особенности же, если пьяница большой человек, да и нет его в живых, стремится обелить Твардовского, но при этом мало задумывается о пагубной силе порока, убивающего наших поэтов. Нам кричать надо о нависшей беде повального пьянства, искать и корчевать корни этого зла. а не стыдливо закрывать глаза при виде очередной жертвы Зеленого Змия.

Молодой в то время поэт Валентин Сорокин, испытывая и сам зловещее дыхание алкоголя, написал в конце шестидесятых годов стихотворение «Упрек смерда». Не стану утверждать, что героем стихотворения был наш общепризнанный Первый поэт, но многие черты его мы угадывали.

Вот эти стихи:

От дел насущных отстранясь.  
За ставней, за резным оконцем.  
Ты снова тяжело запил, князь.  
Не видя Родины и солнца.

Под сердцем сумеречь с утра,  
А холуи прикрыли двери.  
Слух просочился, что вчера  
Ты об косяк раскровил череп.

А помнишь – хлеще, чем прибор,  
Вокруг тебя толпа шумела.  
За кличем, брошенным тобой,  
Дружины шли в сражение смело.

Теперь – лишь кружок перестук,  
Да женский плач среди долгой ночи.  
Понылинявил твой сюртук.  
Повыцвели орлины очи.

У врат центральных стал Гирей,  
У боковых толкутся персы.  
Твоих смазливых дочерей

Улещивают иноверцы.

Сгребают золото для родни,  
Ложь и безверье прививают,  
Твоим же именем они  
Сынов отчизны убивают.

Любовью к ближнему корят.  
В шинках шельмуют, дармоеды.  
По всей Руси они творят  
Неслыханное зло и беды.

Довольно воду нам толочь,  
Сзывай, сзывай совет старейшин,  
Тебе нельзя уже помочь,  
Тебя пора судить, светлейший.

Когда врагу мы отомстим,  
Героев вырастим на смену  
И, может, хмель тебе простим.  
То чем оплатишь ты измену?

Силой своего воображения и таланта поэт глубоко и верно высветил драму спившегося певца, провидел его логический конец и, одновременно, свою же собственную трагическую судьбу. Человек может сойти с круга, стать пьяницей, это его драма, но когда песня замирает в груди певца – это уже трагедия. И не одного только певца.

Жил на свете прекрасный детский писатель Леонид Сёмин, и жил он в Ленинграде, ставшем ныне снова Санкт-Петербургом.

О том, что он был прекрасным писателем, я узнал случайно, – из его книги «Тревоги голубого города», которую я купил для своего внука Дениса. Раскрыл книгу и на первой странице читал: «Муравей по кличке Хло был послан проверить дорогу.

– Ты, братец, проворный, – говорил ему всеми уважаемый муравей Ти-Аха. – К тому ж, и места с прошлого года помнишь. Сбегай, пошарь, может, сбились мы...

Армия рыжих лесных великанов собиралась напасть на пчел. И вот, прячась в траве от птиц, Хло уже спешит обратно к своим. Торопится сообщить, что идут они правильной дорогой».

Прочел я эти первые строки, и мне захотелось читать дальше, – узнать, как же будут развиваться события. Чем закончится набег рыжих разбойников на работяг-пчел?

Я вообще признаю тех детских писателей, которые не сюсюкают, подлаживаясь под малышей, а ведут с ними разговор серьезный, тоном и языком взрослых, а если изображают жизнь животных, птиц, насекомых, то максимально приближают их к повадкам и психологии человека: так, как это умели делать Андерсен, Киплинг, Лев Толстой, Чехов.

Я прочел повесть о пчелах Леонида Сёмина и был радостно поражен открытием замечательного писателя. Он сочетал в себе два дивных дара: рассматривать каждый листочек, каждую букашку, как в микроскоп, и ярко, самобытно живописать живую и неживую природу.

Купленная мною книга была настоящим подарком внуку. Я потом искал другие книги Сёмина, но... не находил.

Спустя десять лет Люция Павловна Шичко поведала мне о жизни Леонида Сёмина. В том же году, когда я купил его книгу, он обратился к врачу-наркологу: «Помогите!» После краткой беседы врач поняла, что перед ней безнадежный алкоголик, – она ему уже помочь не может. Позвонила известному психофизиологу Геннадию Шичко. Геннадий Андреевич не замедлил явиться. Перед ним, в позе убитого горем, сникшего под тяжестью непрерывных запоев, сидел невысокий, полный и лишенный всякого интереса к жизни человек. Ему было сорок семь лет, но он казался глубоким стариком. Одно только повторял: «Помогите!»

Шичко пригласил его к себе в институт, долго, обстоятельно расспрашивал о жизни, о том, когда начал пить, как пьет, сколько пьет. Оказалось, что Сёмин страдает крайней степенью алкоголизма, – его мучают приступы белой горячки, многое он уже не помнит.

Жизнь Сёмина была чередой страшных мучительных испытаний. В первый год войны он попал в окружение, его ранило, он в бессознательном состоянии оказался в плену. Бежал, но был пойман. Испытал лагеря фашистские и сталинские. Не баловала его и жизнь на свободе. Писал он, как многие взыскательные художники, медленно, печатался редко. Безденежье душило его, унижало. Он пил. И страсть эта пагубная все усиливалась. А тут еще к вину пристрастились жена и дочь. Сплошной пьяный угар, ссоры в семье, вечный, непримиримый конфликт с

товарищами по перу, редакторами. Хорошо знавшая его жена поэта Горбовского о нем сказала: «Пьяный, он агрессивен и опасен. Если я встречала его, то обходила стороной».

Шичко провел с ним сеанс гипноза. И этот сеанс, – всего лишь один, – оказался для писателя спасительным: он бросил пить. И трезвый явился в Дом литераторов. Его увидела жена Горбовского. Сказала мужу: «Что с ним произошло? Спокойный, приятный, – смотрит ласково и улыбается. Трезвый!»

Горбовский поговорил с Сёминым. О, чудо! Сёмин не пьет! Его отвратил от пьянства какой-то чудодей Шичко.

Рассказал жене, а та вспылала желанием отрезвить и мужа, тоже запойного пьяницу. Вскоре и они предстали перед Шичко, – он и Горбовского отрезвил. Горбовский проявил большую волю к трезвости, выполнял все советы Шичко, писал по его требованию специальные антиалкогольные дневники. Отрезвился надолго, но Сёмин продержался семь месяцев. Кто-то из приятелей уговорил его выпить. И снова начались его запои. Друзья и родные видели, как безобразила его водка. От выпитого стакана он сатанел на глазах, превращался из вежливого, деликатного человека в черта с рогами. Оскорблял грязными словами, – даже женщин! – лез в драку. Столик, за которым он сидел в Доме литераторов, был пуст, и возле него никто не садился, – товарищи сторонились его, как чумного.

Сёмин держал пасеку, любил пчел. Наблюдал их часами, написал о них прекрасную повесть. В трезвом виде Сёмин трогательно заботился о пчелах, утеплял их на зиму, давал сахарный сироп, но, как только напивался, терял к ним всякий интерес. Соседи по даче, заметив его пьяным, шли к нему с банками за медом, предлагали водку. И он выгребал у своих любимиц последние запасы мела, обрекая их на голодную смерть зимой. Протрезвившись, сидел возле улья, обнимал его и плакал.

Его старая мать сильно страдала от пьянства сына. Молила его бросить пить, мечтала о времени, когда он станет трезвым. И, умирая, со слезами на глазах обращала к нему последние просьбы. А он сидел возле ее изголовья и пил. Потом же, похоронив мать, горько сокрушался и посылал к небу мольбы о прощении.

Сёмин погибал. А Шичко, узнав об этом, вновь провел с ним работу. И снова отрезвил. Надолго ли?

Этот вопрос все больше занимал и ученого. Он уже тогда оставил свои исследования в области второй сигнальной системы, которые, кстати, были успешными и закончились монументальной монографией.

Драма Сёмина, его срывы послужили для ученого толчком к новым поискам. И скоро он вплотную подходит к открытию метода, ставшего ныне знаменитым и названного его именем. Метод Шичко предусматривает очищение сознания от ложных взглядов. По этому методу ныне отрезвляются десятки тысяч алкоголиков. Но Сёмин не дождался открытия Шичко. В 1982 году сердце его, измученное алкоголем, остановилось. Наш народ потерял чудесного писателя.

Горбовский был дружен с композитором Соловьевым-Седым и его уговорил обратиться к Шичко. Ученый вернул к трезвой жизни нашего замечательного композитора. Он долго оставался трезвенником и за это время написал много замечательных произведений, но во время вручения ему ордена в Кремле к нему подошел с бутылкой вина секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе, предложил выпить. Соловьев-Седой отказывался, но Георгадзе говорил: «Как! Не хочешь выпить со мной! Да ты посмотри, какое вино! – Каберне! Его поставляют только сюда, в Кремль!..»

Композитор выпил. И с тех пор снова стал пить и вскоре умер. Сердце с трудом переносит спиртные возлияния, но если это сердце пожилого человека – оно не выдерживает.

И тут мне вновь приходит на ум американская романистка Рита Браун. Не побоялась эта мужественная женщина – кстати, и талантливая писательница – бросить гневные слова в лицо всем писателям своей страны. Я же ничего подобного не сказал даже близким товарищам. А жаль! Было бы светлее теперь на душе.

Зеленый змий, взяв в полон человека, быстренько отсекает от пьющего всех близких и товарищей, рвет дружеские связи, прокладывает между пьяницей и внешним миром полосу отчуждения. Это только на первый взгляд может показаться, что пьяница всегда в кружке товарищей, он на виду и всегда весел, говорлив и окружен шумной ватагой любящих его людей. Нет, его никто не любит, – и даже те, с которыми он пьет, в сущности, презирают его, не считают за человека. И стоит перекипеть в нем выпитому алкоголю, стоит ему вытряхнуть из кармана последнюю рублевку, он тотчас остается одиноким, – собутыльники, как мотыльки, быстро разлетаются и неизвестно где коротают мучительные часы пьяной одури. На следующий день они ищут друг друга, но лишь с единственной целью: выпить за счет другого, осушить неизвестно где и кем добытую бутылку.

Страшно сказать, но и в среде моих товарищей-писателей действовали примерно те же законы, со временем устанавливались те же нравы.

Зеленый змий исподволь распахивал между нами полосы отчуждения; наши встречи становились все реже, а если мы и встречались, то разговор неизбежно склонялся к бутылке. В мой же адрес насмешки становились все злее, и если выставлялось вино, то мне уже за столом и не было места.

Вместе со мной от спиртного решил отказаться поэт Игорь Иванович Кобзев, – вот с ним мы встречались с удовольствием. Между нами завязалась дружба, продолжавшаяся до конца его дней. Что же до моих прежних друзей, то они разделились на мелкие группки по единственному признаку – по степени пристрастия к алкоголю. Акулов, Шевцов, Сорокин составили один тесный кружок, – по вечерам на даче «отекали», или, как говаривал

Фирсов, «всасывали водочку, коньячок». Акулов, едва дотянув до пенсии, умер. Сорокин был отставлен от должности, Шевцов как-то вдруг сник, осунулся... Кружок распался.

Пьяницы уходили один за другим – в пятьдесят, шестьдесят лет.

Водка, как напалм, сжигала людей дотла. А тех, кто оставался, превращала в дряхлых стариков.

Я, как-то гуляя с внуком Денисом, встретил Валентина Сорокина. Большая голова его до срока поседела, лицо оплыло, хмельные глаза лихорадочно блестели. Он шел из магазина, – водки там не было. Поэтому злобно ругался.

Вспомнил я недавние годы нашей дружбы: он выглядел молодо, был приветлив, вежлив и был уверен, что скоро, очень скоро напишет великолепную поэму.

Поэмы он написал и их напечатали, только никто не нашел в них так долго ожидаемого великолепия.

Мы знаем: в истории литературы были случаи, когда и сильно пьющие поэты создавали прекрасные стихи, – и даже мировые шедевры, – но такое наблюдалось лишь в молодом возрасте. Зеленый змий, захватив жертву, не сразу ее приканчивает; десять-пятнадцать лет не совсем еще отнимает творческую энергию, но разум угнетается любыми дозами и на любом этапе винопития, но если ты пьешь пятнадцать-двадцать, а паче чаяния, и больше лет, на удаче в литературных делах не рассчитывай. Талант, каким бы он ни был, гибнет навсегда, и уж если возвратится к трезвевшему человеку, то не в той силе и не в том блеске, какой необходим для создания высокохудожественных произведений. И, может быть, такой поэт, как Сорокин, отчаявшись создать «великолепную» поэму, чутьем уловил причину своей творческой катастрофы и, в порыве бессильного исступления, бросил отравителям народа гневные строки:

А чем рассчитается банда  
За свой алкогольный террор?..

Сорокина я знал и внимательно следил за его творчеством много лет. Мы и на даче живем по соседству. Он от рождения был несомненно талантлив и многое обещал литературе, но в развитии скоро остановился и с течением дней писал все хуже. Свою энергию направлял на административную суету, на хождение по кабинетам литературных генералов, и сам стремился втиснуться в коридоры власти, и порой это ему удавалось; но поэзия слишком горда и вольнолюбива, в душах честолюбивых хитрецов она не живет.

В случае с Сорокиным причина кроется не в одном только алкоголизме, – тут проявляется и комплекс неудавшейся творческой судьбы, обманутых надежд, несбывшихся желаний. Поэт должен быть властителем дум, глашатаем истины, добрым и могучим другом своих соотечественников. Поэт тогда поэт, когда его книги ищут, стихи заучивают наизусть. Поэзия питает музыку, живопись, философию и педагогику, она должна властвовать в умах и душах. Но если этого нет, то нет и поэта, а есть стихотворец, умеющий более или менее складно составлять слова, подыскивать рифмы, метафоры. Иногда такой любитель найдет хлесткое сравнение, и даже образ, но ведь из стихов должна вырасти поэзия, должен подняться над своим поколением поэт и открыть современникам новые горизонты художественного осмысления своего времени, явить новый уровень величия, благородства, красоты человека.

Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» создает образ неудавшегося поэта Ивана Бездомного.

«Да, стихи... Ему тридцать два года! В самом деле, что же дальше? – И дальше он будет сочинять по несколько стихотворений в год. – До старости? – Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? Какой вздор! Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи».

Мудрый писатель, тонкий психолог, ставит своего героя в экстремальные обстоятельства, где ум человека и свойства характера проявляются отчетливо и резко. Бездомный ведет себя, как сумасшедший, и по всем законам логики попадает в психиатрическую больницу. А между тем, он пользуется славой известного поэта, он на виду у всех столичных литераторов.

Бездомный – тип сатирический, и даже анекдотический: с одной стороны – поэт, да еще известный, с другой... не поймут люди, в своем ли он уме?

До уровня сарказма доводит писатель вполне реалистическую мысль о несоответствии многих ловких людей, добившихся в наше время и чинов, и славы, их действительным достоинствам. Этот «театр абсурда» был, конечно, и раньше, и в самые отдаленные времена, но в наши годы он принял форму всевластия и всемогущества. Бездну иронии может услышать наш современник в словах песни: «Кто был ничем, тот станет всем».

Идея величия, всеправия, вседозволенности стала в советскую эпоху доминирующей и увлекла массы народа. Буквально толпы людей устремились и в литературу – самую престижную профессию. И каждый вознамерился воздвигнуть себе «памятник нерукотворный». Максим Горький, изрядно запутавший всю жизнь русских литераторов, нагромоздивший в литературе уйму больших и малых контор, легионы начальников, выдвинул идею поточной подготовки писателей – предложил учредить Литературный институт, названный впоследствии его именем. Умные люди говорили: писатель – это талант, писателем надо родиться. Но Горький считал, что писателей и поэтов можно и выучить, как учат плотников, сапожников, поваров. И начали учить...

Я и сам кончил этот, едва ли не самый престижный, институт, и могу сказать: знания он, конечно, дает серьезные, но таланта не прибавляет. О тех же, кто попадал в институт в обход конкурса и при помощи «волосатой руки», – а таких со временем становилось все больше, – после окончания института можно было сказать словами известной песни: «Каким ты был, таким ты и остался». Студентов на первом курсе уже называли молодыми писателями, они потом всю жизнь гордились этим званием, но... книг не писали.

Много интеллектуальных сил отняла у нашего народа горьковская «революция» в литературе, собравшая русских, да и не только русских писателей под знамя социалистического реализма. Казарменные порядки внедряла его же идея жесткой организации литературного процесса и оброненная им незначай мысль о поточной «выпечке» поэтов и писателей в единственном в мире Литературном институте.

Когда я работал в издательстве, ко мне приходили бывшие однокашники. Одежка ветхая, вид затравленный, в глазах тревога и смятение.

– Иван, помнишь, как мы учились, жили в Переделкино?

– Как не помнить! Студенческие годы – их не забыть.

– Да, вот... не печатают. Весь пообносился, залез в долги, – дал бы мне аванс.

– Да под что же? Клади на стол рукопись. Если стоящая, держать не станем.

– Ах, рукопись! Есть у меня задумка, и кое-что начато, да вот... не могу закончить. Суета заедает.

Посидит, посидит такой бедолага, выплечет душу и... пойдет дальше задумывать, начинать и не заканчивать. Знал бы отец социалистического реализма, сколько подобных мытарей наплодил он и пустил по белу свету. Я как-то подсчитывал: из трехсот человек, учившихся в моем потоке, лишь с десятков мог бы назвать серьезных литераторов. И все они стали бы таковыми и без института. Правда, в нашем же потоке учились такие «суперпоэты», как Евтушенко, Ахмадулина, Гладilin, Кузнецов... Но это популисты, мастера скандалов и саморекламы, – они литературу не делают. И слава их переменчива: сегодня у них одно лицо, завтра – другое. Им не завидовать надо, пожалеть впору.

Иван Бездомный – первая ласточка из несостоявшихся «корифеев». Впрочем, уже тогда, на заре советской власти, они стали плодиться сотнями, тысячами. Кто-то из героев Булгакова заметил: «...нас в Моссолите три тысячи... сто одиннадцать человек».

И это только в Москве!

Кстати, заметим, что сам-то Булгаков, как и Маяковский, не был членом Московской писательской организации. Сорокин, слава Богу, член Союза писателей, он даже будто бы один из секретарей. И я не хочу поставить его в ряд с Бездомным. Он в юношескую пору писал хорошие стихи.

В предместье Сергиева Посада, в нашей писательской колонии, живет критик Виктор Чалмаев. В самом молодом возрасте удостоился он шумной и завидной славы. В нескольких статьях Чалмаев, вслед за Михаилом Лобановым, написавшим статью «Просвещенное мещанство», напал на леворадикалов в литературе, убедительно показал художественную несостоятельность авангардистов из журнала «Юность» и так же, как Лобанов, стал одним из самых популярных критиков русского патриотического толка. Его принялась «громить» левацкая пресса, находившаяся уже тогда в руках «Геббельсов», как ныне говорят о желтой прессе.

Чалмаев был на седьмом небе, – его знали, с ним считались, его боялись.

Виктор в это время уже много пил, почти каждый день, хотя, впрочем, не упивался. Очевидно, пил на радостях.

Но со временем репутация «крамольного» автора, как петля, затягивалась все туже, – судьба, которая в той или иной степени постигала почти каждого жителя нашей семхозовской колонии. В редакциях газет, журналов, в издательствах его встречали все холоднее, – опасались прослыть сторонниками Лобанова, Чалмаева и тем заслужить немилость влиятельных лиц, втайне, а подчас и явно защищавших авторов «Юности». В идеологическом отделе ЦК КПСС все большую силу набирал «отец» авангардистов Александр Яковлев. Вскоре он станет шефом идеологической службы партии, потом на время Брежнев пошлет его послом в Канаду, а уж затем, после Брежнева, он из Канады будет возвращен и въедет в Москву на белом коне, – уже в роли члена Политбюро, второго человека в государстве. Ныне многие полагают, что он-то и является главным архитектором перестройки, изобретателем той мины, которая была заложена в основание русского государства и, не взрываясь, стала крушить его и разваливать.

В то время, шестидесятых и начала семидесятых годов, эта мина только еще подводилась, Яковлев лихорадочно подтягивал к Старой площади войска своих сторонников, бойцов бесшумного фронта. Особенно много их становилось в редакциях, в издательствах, во всех средствах массовой информации, в очагах культуры, искусства, науки.

Патриотически настроенным критикам было особенно трудно – их перестали печатать. И Чалмаев очень скоро очутился в положении Шевцова, Фирсова, Кобзева. О нем вдруг замолчали. Его нет, не было и не будет. Так решили Чаковский из «Литературки», Панкин из «Комсомолки», Аджубей из «Известий», Зимянин из «Правды» и прочие газетные «князья», хорошо знавшие, чего требуют от них Брежнев, Суслов, Яковлев – праотцы наших доморощенных «Геббельсов».



Чалмаеву в это время совсем было трудно. Если мы, прозаики, еще могли где-то выпустить повесть, роман, рассказы, то для статей, защищающих русскую патриотическую литературу, места не было.

И Чалмаев все больше пил. Тихо, упорно – малыми дозами. Пьяным по-прежнему не напивался.

Пробавлялся он в то время случайными литературными заработками. Писал закрытые рецензии. Есть в издательствах такой механизм – закрытых рецензий. Отправят маститому литератору, критику, ученому-филологу пришедшую от автора рукопись, а тот напишет о ней свое мнение. Если это мнение будет отрицательным, автору имя рецензента не назовут. Потому и называются рецензии закрытыми.

Позже я узнал, что «Профиздат», куда я слал роман «Горячая верста», послал его Чалмаеву. И тот написал отличную рецензию – умную и доброжелательную. И если роман был скоро напечатан, я этим во многом обязан Виктору.

И не писать бы мне о его пристрастии к спиртному, – помалкивать бы, как это мудро делают братья-писатели, – да уж взялся ворошить «пьяную кучу», надо идти до конца. Расскажу, как Виктор Чалмаев, – этот отважный и умнейший критик, начавший свой путь в литературе, как витязь, – сложил затем крылья и к пенсионному возрасту смирился окончательно. Не писал он боевых статей в защиту русских писателей, не говорил патриотических речей – тихо жил на своей даче, с завидным упорством выискивал пути «выживания». Часто ездил в Москву, толкался в коридорах Союза писателей, жался к литературным вождям, охотно выполнял их поручения. Его стали включать в комиссии, советы, коллегии, сектора. При встречах рассказывал о новостях в Союзе и, видя, что они меня не очень-то интересуют, подступался ко мне близко, – у него была такая манера, – говорил: «Послушай, почему ты не бываешь в Союзе?.. Надо там появляться. Нельзя чураться, там есть хорошие ребята. У тебя, кстати, много союзников. И все недоумевают, почему тебя не видно». И если я молчал, то он подступался с еще большим жаром: «Ну, согласишься, – нелепо стоять в стороне. Создается впечатление обиженности, каких-то конфликтов, а еще чего-то такого, не совсем нормального, то есть сдвигов психики. Можно и в анекдот попасть, остряки скажут: «Обиделся на весь город, а город этого и не заметил». – «Ни на кого я не обижаюсь. Просто жаль мне тратить время на заседательскую суету. Я свое отработал – в "Известиях". в издательстве. Хочу писать».

Со временем подобные разговоры становились все чаще, – Чалмаев все дальше уходил от письменного стола. Происходила мутация взглядов.

Однажды мы с Надеждой, моей женой, ехали из города в Семхоз – на дачу. На полдороге, в Софрино, застряли. В связи с ремонтом путей нам предстояло торчать там около трех часов, ждать другого поезда. На платформе увидели Чалмаева.

Батюшки! Сколько же лет не виделись! Этак, пожалуй, лет пять или шесть. Вот так! А живем в одном поселке, почти соседи. Жизнь и время разъединяет со многими, даже некогда близкими людьми. Недавно в один день умерли Михаил Бубеннов и Петр Карелин. О Бубеннове лишь сообщила на задворках «Литературка», о Карелине – ни слова. Он был начальником – замом у Кочетова в «Литературке», в «Октябре», а затем главным редактором Госкомиздата РСФСР. Но, главное для меня, – оба они были моими друзьями. Дальше, к старости, если суждено пожить, их, наверное, станет еще меньше. Останутся одиночки, – те, что не подвержены ни чинам, ни деньгам, ни капризной даме Славе. А таких, как известно, во все времена было мало.

Стоим на платформе с Чалмаевым.

Беседу начинает Надежда:

– Ты что-то к нам не заглядываешь. Наверное, стал богатым, – может, пробился в начальники.

Раньше Чалмаев заглядывал к нам частенько, особенно когда я работал в издательстве. Писателей тогда бывало у нас много – и на даче, и на квартире в Москве. Чалмаев как-то ловко выбирал часы, когда мы оставались одни. Пили чай, Надежда подливала ему нашего семейного, самодельного, смородинового вина.

Виктор, видимо, вспомнил все это, заелозил серыми глазами, невнятно забормотал...

Таких, которые изменились к нам с моим уходом из издательства, Надежда не прощала. Обыкновенно казнила вопросами, и я спешил бедняге на помощь, переменял тему.

– Как жизнь? Что написал нового, что напечатал?

– А ничего. Жизнь течет. Недавно пятидесятилетие справил. Где ж ты был – я звонил, искал...

– На месте мы, – доколачивает его Надежда. – Плохо искал.

– Сергованцев тамадой был, – продолжает он, поворачиваясь боком к Надежде. – Николай – мудрец, оратор... Ты знаешь его, вы, будто, в Литинституте вместе учились.

– Было дело. Теперь он – главный редактор «Советской России». Впрочем, не меняется. По крайней мере, внешне. Помогает. И мне, и Углову.

– Тамада – блеск, он так говорил, так говорил! Знаешь, мне даже было неловко, – так он меня возносил.

Последние слова проговорил почти шепотом, но тоже очень серьезно.

Какие-то странные произошли с ним перемены: он стал суетным, нетвердым в словах и жестах, – в нем будто бы что сломалось, разладилось. Слова произносит едва слышно, и мина его, покачивания головы, нервные движения рук создают впечатление какой-то тайны, невысказанного, заветного желания.

Наклоняется ко мне, – и так, чтобы не слышала Надежда, говорит:

– Выпить бы, Иван, а?..

Чалмаев берет меня под руку:

– В Дом литераторов не ходишь – напрасно. Если тебя критикуют, делай вид, что ничего не происходит. Голову кверху, шаг бодрый, всем поклон – привет, привет! А то ведь подумают: в позу встал. Этак-то и забыть могут.

– Могут, конечно. И забыть могут. Тургенев говорил: если тебя не печатают пять лет. считай – забыли. Так что мне уж можно и не мельтешить в Доме литераторов. Все равно забыли. Меня уж вон сколько лет не печатают.

– В загранкомандировку бы поехал. Я ездил уже трижды.

– Ты другое дело, а меня кто пошлет? Там, в руководстве Союзом, Феликс Кузнецов сидит, мой критик.

Чалмаев поднимает указательный палец, елозит взглядом где-то под ногами, тихо говорит:

– Феликс – о-о!.. Хитрован. Был недругом, а теперь даже рад будет. Скажет: ага-а, пришел, поклонился. Сыграет в благородство. О-о-о... Они, брат, леваки, не так просты, как мы думаем.

Тянет меня за рукав книзу, в ухо свистит:

– Не теряй время, – просись за границу. Сейчас ветер подул в нашу сторону, – если квартира большая нужна, тоже проси. Вон Фирсов – министерскую получил.

Тут подает голос Надежда:

– Давно ему говорю: проси квартиру побольше. В нашей-то тесновато, книги нас выживают.

– Вот и верно. Иди к Феликсу Кузнецову – проси. И снова Надежда:

– Никуда он не ходит. Всем левакам насолил и теперь сидит на даче, как сын на ветле. Его бранят, а и хорошо. Если взять вашу литературную кухню, так там приличных людей всегда травили, из Москвы, из Петербурга высылали. А и в наше время – Булгакова возьми, Маяковского, Есенина... Ты бы, Виктор, написал об этом, и его добрым словом помянул, как раньше.

Критика точно кипятком ошпарили: качнулся, как от удара. головой замотал, – будто и не слышал ничего. Тянет меня за рукав, шепчет:

– В буфет пойдём.

В буфете за стойкой я пью чай, он – коньяк. Скороговоркой перечисляет литературные новости.

– Фирсов о Шолохове поэму сляпал. Хе-хе... Черт знает что – древесина! Сорокин – о Пушкине наворотил кучу, Марков – о Гагарине. Читать нельзя! Лес переводят. На каждую книжку-то, поди, гектара два уходит, на прозу и того больше. Акулов своего Касьяна Остудного печатает. Зачем, кому нужно?! – Древесина!..

Выпил подряд две рюмки, продолжает:

– У Тургенева – Касьян с Красивой мечи, у этого – тоже Касьян. Смех! Ну, скажи, скажи на милость, – ты ведь знаешь Акулова – зачем уж явное-то эпигонство?.. Стыдно ведь. Касьян Остудный – хе-хе...

Чалмаев был изрядным ворчуном, он и в своих ранних статьях много желчи разливал. Высмеивал как-то ядовито, ехидно, – он был талантлив, и от его характеристик всякому было неуютно. В статьях его немало ума, они блистали слогом, содержали смелые мысли. Во многих из них утверждалась идея великого предназначения русской культуры и русского национального характера. Однако высказывалось это в таком тоне и в таких выражениях, что любому становилось не по себе. И друзья, и противники находили в них такой накал психического возбуждения, который никогда не был характерен для русской критики. Но со временем пыл его угасал, стиль тускнел. Видел я, что пьет он много, пьет жадно, почти каждый день, но, конечно же, мутацию его взглядов не относил к увлечению спиртным. Теперь-то на примере других вижу, что вино меняет не только суть творчества, но и сам характер человека ставит с ног на голову. Всегда подвыпивший или озабоченный желанием опохмелиться, Чалмаев становился мягче, податливее, он все чаще похваливал нужных, именитых, к делу и не к делу называл много фамилий, – раздавал «всем сестрам по серьгам». Похвалит литераторов одного лагеря, не забудет и тех, кто напротив, – из лагеря другого. А в итоге не поймешь, что хотел сказать человек, какую мысль утверждает.

Увлечение спиртным, постоянное хмельное состояние неизбежно влечет к бесправию в обществе и семье. На работе пьянице-рабочему мастер скажет: «Ну, ты, алкаш нечесаный, будешь права качать – живо за ворота выставлю». В семье – та же история, пьяница все время и во всем виноват.

Меня всегда поражало в Чалмаеве несоответствие того, что он писал в статьях, и того, как он жил в личной жизни. У него довольно симпатичная жена, и мне казалось, что он во всем ей слепо повинуется. Я думал:

«Возможно ли для большого оригинального человека, каковым должен быть литературный критик, – да еще такой знаменитый, как он, – возможно ли для него такое растворение перед личностью жены – пусть даже очень красивой и властной. Живущий с ним по соседству Шевцов умел отлично копировать его и его жену. Уморительно пересказывал он их беседу о партийных взносах. Чалмаев выпустил книгу, получил гонорар. С него предстояло заплатить членских взносов рублей триста-четыреста. Сразу он это не сделал, а потом, когда деньги расплзлись по разным статьям, он вдруг объявляет жене: «Надо платить взносы». С ужасом она узнает сумму, некоторое время молчит, а потом тоненьким, музыкальным голоском говорит: «Витичка, если партия так дорого стоит, зачем она нужна тебе, эта партия?..» Чалмаев слушает жену и взносы не платит. За это его исключают из партии. Потребовались годы хлопот, чтобы в ней восстановиться.

Другой эпизод, – его также мастерски живописал Шевцов.

Владимир Фирсов, как и Чалмаев, тоже смолodu был озабочен жадной выпить. Денег же не было: жена не работала, стихи печатали редко. Ловит он на улице щенка, несет к Чалмаеву.

– Виктор! Вот породистый щенок. Возьми за трешницу! (как раз на поллитра).

Из-за спины Чалмаева выглядывает очаровательная супруга.

– Да зачем он нам?

– Как зачем? – рычит Фирсов пропитым горлом. – Трешница! Всего только, а щенок – редкой породы. Ему на птичьем рынке цены нет. Пожалуй, сотни три дадут.

– Так ты бы, Володечка, и снес его на птичий рынок, – возражает супруга, но уже слабее. С явным интересом оглядывает щенка, гладит его по головке.

– Ты. Володечка, не обманываешь? Он вправду породистый?

– Стану я обманывать великого критика, не враг же я себе. У меня в газетах и без вашего супруга врагов хватает.

– Ну, если так, возьмем мы кутеночка. Сходи-ка ты, Витичка, за деньгами.

Фирсов получил свою трешницу, в тот же час ее пропил, а щенок к вечеру прибежал на ту же улицу, где он живет. Фирсов через три-четыре дня, в минуту, когда желание выпить становится нестерпимым, снова ловит щенка и несет к Чалмаевым. Повторяется та же сцена.

Беседа с Чалмаевым на платформе Софрино скрашивает нам часы ожидания. Чалмаев еще дважды бегал в буфет, прикладывался к рюмке, а вернувшись, тянул меня за рукав, уговаривал включиться в литературную борьбу, ездить за границу и отдыхать в Домах творчества.

– Я вот только вернулся из Франции. Посылали от Союза... И вообще: Союз писателей – это реноме, куча разных привилегий...

– Хочется тишины. Писать мне надо.

– Нет, нет, старик, – ты резкий, прямой, и язык у тебя подвешен, – такие нам вот как нужны!

– Кому это вам? – вновь встречается в разговор Надежда. – Я недавно статью твою читала, так из нее не поймешь, какому богу ты молишься...

Надежда в своем репертуаре: режет правду-матку в глаза. Чалмаев трясет головой, прядает бесцветными глазками, воротит в сторону лицо. И уже совсем тихо, так, что я едва слышу, шевелит припухшими от коньяка губами:

– Нужна гибкость, политес...

Кивает в сторону Надежды:

– Им не понять... Их бы... в нашу шкуру... Хе-хе... Узнали бы, как тут у нас, в литературных конюшнях.

Электричка подкатила, и мы стряхнули груз беседы, становившейся утомительной. Чалмаев поспешил в вагон, мы – в другой. Мне бы хотелось продолжить с ним беседу, но я не желал подставлять своего товарища под удары не искушенной в литературных делах Надежды.

Надежда продолжала метать в его адрес стрелы:

– Я всегда чувствовала в нем какую-то неискренность, но чтобы так вот... вилять хвостом?

– Ты хочешь видеть в нем Белинского, а он не может быть таковым, ныне все так устроено; наши критики похвалы и комплименты раздают в соответствии с чинами. Или еще другой принцип действует: ты – мне, я – тебе.

Прочел ей стихотворение, которое недавно встретил у молодого автора:

Сегодня без знакомства – никуда,  
Везде нужны предательские связи,  
Без связей – лишь, пожалуй, газ-вода

Холодная... на стопроцентном газе.

Балык – за норку, кофе – за икру,  
Хрусталь – за оду, песня – за дубленку!  
Все втянуты в азартную игру. –  
Эх, снять бы этот мир на кинолентку!

Надежда моя, прослушав стихотворение, приуменьшила. Она в душе будто бы простила критика с гибким пронизательным умом и трусливым сердцем. В раздумье проговорила:

– Да, конечно, – не он один. Странно как-то все устроилось в нашем Отечестве: с одной стороны, технический прогресс, герои космоса, с другой – падение нравов. К чему это нас приведет? Как думаешь, выберется Россия из этой трясины?

Долго я потом, после того, как мы приехали домой, думал о встрече с моим старым товарищем. Вспоминал наши молодые годы. Тогда Виктор Чалмаев был другим, – мы его любили и многого от него ждали.

Ныне мы можем сказать: громче всех гремели в те, шестидесятые годы колокола над Радонежским лесом, – в тех местах, где шестьсот лет назад сбил свой скит духовный отец России Сергей Радонежский.

Именно тогда, разбуженные этим набатом, очнулись люди и стали зорко всматриваться в окружающий их мир, с пристрастием наблюдать за тем, как наш малограмотный, со своевольным и вздорным характером правитель Хрущев сдавал одну позицию за другой антинациональным силам.

И как часто случалось в нашей истории, рядом с «царем» стояли зловещие фигуры тайных советников: у правого плеча Хрущева стоял человек с лицом и фамилией грызуна – Сулов, у левого – забредший к нам из чуждадных восточных стран молодец с ликом красноватой выжженной пустыни и с именем персидского визиря – Аджубей.

Они тащили Хрущева в пропасть, а Хрущев хотел бы увлечь за собой целый мир, – но Россия упиралась.

Были еще у России поэты и писатели, артисты и художники.

Впереди нас ждали новые беды, но мы не робели: знали – вместе с народом, вместе с Россией мы одолеем любые невзгоды и выведем свою многострадальную Родину к жизни новой, вольной. И к этому звал нас критик Виктор Чалмаев. Но что же случилось с ним ныне?

Не знал я еще, какую роль в его жизни сыграли коньяк и водка.

Мутация ума и таланта, утрата со временем глубины, новизны и блеска мысли, совершенства формы, в которую она облекается, замечены у многих литераторов, – у наших же. российских – почти у всех, но винят в этом обыкновенно любые обстоятельства, но только не пьянство. Недооценка пагубы алкоголя характерна и для анализа общих причин, явлений политики, социологии, философии. Впрочем, этого не скажешь об отцах Отечества, гигантах мысли, гениях. Более ста лет назад, отмечая, что общество впадает во всеобщую нравственную деградацию, Достоевский восклицал: «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают... Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?»

И это говорилось в 1877 году, – тогда в России производилось в среднем на душу населения чуть больше одного литра алкоголя. Что же сказал бы он сегодня, когда наше родное правительство, вздумавшее повести нас к новым, еще более сияющим вершинам, планирует ежегодное производство спиртного около двадцати литров на человека!

Заметим кстати, речь идет о литрах абсолютного спирта. Если же перевести на водку – около пятидесяти литров. Исключите отсюда стариков, больных, младенцев, – сколько же водки обрушивается на голову мужчины в цветущем, самом работоспособном возрасте!

Вот экономист Вадим Первышин, анализируя демографическую обстановку, пишет, что «недород», «потери» русских за последние 30 лет мирной жизни составили 61,4 млн. человек, – это больше, чем потери русских в первую мировую войну, гражданскую, финскую, Великую Отечественную, а также за годы коллективизации и страшные 30-е годы вместе взятые. Об этом свидетельствуют и цифры резкого падения числа родившихся на 1000 человек населения страны. В 1913 году было 45,5; 1926- 44,0; 1937-39,9; 1940-31,2; 1959-25,0; 1979-18,2: 1990-16,8, – явное вымирание народа!

И еще цифры:

«За пять лет перестройки рождаемость уменьшилась на 761 тысячу человек, а смертность возросла на 271 тысячу человек».

Трагедия заключается еще и в том, что ежегодно рождается не менее 120 тысяч неполноценных, дефективных, дебильных детей с тяжелыми психическими и физическими отклонениями. Причем положение год от года ухудшается. Создалась реальная угроза генетическому фонду народа. В стране имеется 1 млн. дошкольников и 1,8 млн. школьников, глухих и слепых от рождения».

Как это стало возможно – подвести народ к черте вымирания? Наверное, есть к тому в руках темных сил надежные средства? Что же это за оружие?.. Хорошо бы знать его. Ведь на фронте мы, бывало, чтобы одолеть врага, наводили тщательную разведку: что за противник, какое количество, какие у него укрепления и средства борьбы. И уж тогда только шли в наступление.

Ну, а тут?.. Какие же сведения представил нам экономист-публицист?

В общем-то, он сообщил много верных данных: и комнаты-клетушки, в которых живут наши люди, и обилие пенсионеров, студентов, инвалидов, которым не нашли дела, и огромные затраты на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной станции...

Сказал и о ядах, которыми травят людей:

«В стране имеется не менее 1,5 млн. человек, которые пробовали или потребляли наркотики, 5,5 млн. человек зарегистрированы как алкоголики. По причинам, связанным с пьянством, в стране ежегодно гибнет не менее 1 млн. человек (травмы на производстве, аварии на транспорте, отравление «химией», гибель на пожаре, гибель на воде). С каждым годом растет число самоубийц. В 1989 году их число достигло 60 тысяч человек».

И дальше – самое печальное:

«По средней продолжительности жизни Советский Союз находится на последнем – 34 – месте в Европе».

Много дельных, толковых мыслей прочитали мы в статье экономиста, страшная, позорная для нас картина представлена в ней. Но если говорить образно и сравнить экономиста с разведчиком, то сдается мне, что, называя причины бед, он показал нам верхушку айсберга, а весь-то айсберг не разглядел. Он уподобился разведчику, который долго наблюдал противника, пересчитал стволы, торчавшие из укреплений, но, хотя эти стволы и принадлежали крупным орудиям и танкам, он принял их за стволы винтовок и пулеметов.

Не увидел автор статьи главного средства, которым орудовали силы зла на нашей земле после революции 1917 года, орудие это – алкоголь.

Много дал он нам смертей и болезней, миллионы увечных деток произвели мы на свет по его прихоти, – автор эти жертвы перечислил, но он не увидел всей меры зла, творимого алкоголем, не заметил и ничего не сказал он нам о том незримом страшном урожае, который пожинают водка, вино и пиво каждодневно, каждодчасно, – едва ли не в каждой нашей семье. Этот урожай – энергия ума и тела, талант, способности и возможности, наконец, радость бытия, само счастье и благодать дарованной человеку жизни.

Печальную картину представляет река, замутненная ядами отходов производства, – нет в ней жизни, не играют на ее волнах блики солнечных лучей. Мы говорим: «Экология... катастрофа». Ну, а мозг человеческий, венец природы, творец всего содеянного нашими руками? Его-то как травят! В него-то сколько вливают яда, – и не какого-нибудь слабого, невинного, – яда коварного, угнетающего, разрушающего, отнимающего потенцию ума и талант.

Моя речь об этом – о том, чего не увидел и не сосчитал экономист-публицист Валим Первышин. Он, впрочем, написал важную, полезную статью, – за то ему и спасибо.

Он начал, мы продолжим, он сказал, мы добавим.

Писатели... Чалмаев, Фирсов...

Володю Фирсова я знал с Литературного института. Явный поэтический дар привел его в этот престижный творческий вуз. Он был молод, только что кончил школу, но его печатали, им восхищались. Его нельзя было не принять, – и его приняли. Я учился в нем вместе, видел, как он жил, писал стихи, купался в лучах славы и – пил. Пил он все больше и больше, словно бы соревнуясь с другими талантливыми ребятами – Димой Блинским, Иваном Харабаровым, Николаем Анциферовым... Те погибли, один за другим, не успев выйти из института. Фирсов уцелел. Помог богатырский организм, житейская цепкость и сметка – свойства характера, не видимые сторонним глазом, но, несомненно, ему принадлежавшие. Он жил в бараке, – печать крайней бедности лежала на его ветхой одежке, сказывалась на поведении, на отношении ко всем окружающим. Жадно смотрел на мир, цеплялся за каждый выступ, силился вылезти со дна жизни, подняться. Эта-то жадность, страстное нетерпение взлететь, воспарить рождало необыкновенную энергию.

Он пил, но в часы и дни просветления много читал, учился, писал стихи. И писал все лучше и лучше. И ко времени окончания института был уже признанным и даже маститым поэтом.

Когда я поселился на даче в Радонежском лесу, Фирсов уже был знаменит, он имел квартиру, красавицу-жену, дачу. У него одна за другой выходили книги. Его своим вниманием и любовью одарил Шолохов. В гостях у него бывали важные лица, – я часто видел Есилева Николая Хрисанфовича – директора издательства «Московский рабочий», Мамонтова Ивана Семеновича – главного редактора того же издательства, а однажды увидел у него незнакомого мужчину средних лет, крепко сбитого, кареглазого, с красивой проседью в густых темных волосах. Фирсов назвал его:

– Свиридов Николай Васильевич.

Мы познакомились, я сел от него поодаль, слушал их беседу.

Я только что ушел из «Журналиста», – жил на вольных хлебах, – испытывал чувство тревоги и неуверенности за свою литературную судьбу: будут ли печатать мои новые книги и как сложится моя писательская карьера?

Я знал: Свиридов – председатель Госкомиздата РСФСР, недавно он был в ЦК заместителем заведующего отделом пропаганды. Нынешний А. Н. Яковлев, «некоронованный» шеф идеологии, по всему видно, занявший в партии место Суслова, склоняемый всеми патриотами за прозападную ориентацию, был у него в подчинении, – или они работали в ЦК на равных.

Словом, к Фирсову «залетел» глава всех издательств и типографий России.

Он был строг, сдержан, но скоро мы разговорились.

– Напрасно вы ушли из «Журналиста», – сказал он.

– Почему?.. – удивился я.

– Оставили окоп. Жидков, ваш редактор, подтянет своего бойца, – с кривым ружьем. Я-то уж знаю этого молодца.

Я вспомнил: Жидков был инструктором в отделе пропаганды ЦК. Высказываясь о нем с чувством раздражения и даже неприязни. Свиридов обозначал свою позицию. Это уже была откровенность, – Свиридов начинал мне нравиться.

Между тем Людмила, жена Володи, – женщина сколь яркая на внешность, столь и остроумная, и обаятельная, – накрывала стол. Выставила вино. коньяк. После первых выпитых рюмок язык развязался. Фирсов, обращаясь к высокому гостю, сказал:

– Вот Дроздов, выпал из гнезда, – нашли бы ему должность!

Свиридов, набычившись, склонился над столом, не отвечал. Я каждой клеткой ощущал неловкость своего положения, поблагодарил за прием, решительно поднялся.

– Извините, мне нужно на станцию, жену встречать. Свиридов встал, протянул руку. Прощаясь, сказал:

– Заходите в комитет. Поговорим.

На следующий день утром ко мне пришел с измятым лицом, покрасневшими от попойки глазами Фирсов.

– Людмила не дает выпить. Дай чего-нибудь опохмелиться, Я выставил графин самодельного вина из черной смородины. Володя, «поправив голову», сверкнул карими горящими глазами.

– Иди к Свиридову – должность даст. Министр!.. Должности у него, как пятаки у нас в кармане.

Наливал стакан за стаканом, пил.

– Иди, говорю. Не мешкай. Завтра же!

Язык у него начинал заплетаться. Я решил не спорить. Сказал:

– Хорошо, Володя. К Свиридову я зайду. Спасибо за рекомендацию.

– Да, старик, иди, проси должность. В издательствах прорва шпаны всякой, трудно дышать. Меня не печатают, а если возьмут, то все лучшие стихи выбрасывают, оставляют безделки. Может, в издательстве редакцию тебе даст. а то и того выше – заместителем главного назначит. Он же министр! Все может.

Фирсов пил, пока не увидел дно графина. Вновь и вновь меня тревожило это обстоятельство: пьют наши ребята! Природа такой большой талант парню отвалила, а он его заливает спиртным. И вот ведь что страшно: никто из них, «зашибающих», не видит опасности в своем пристрастии. Пробовал я говорить и с Шевцовым, и с Фирсовым: отмахиваются, как от назойливом мухи: «Ах, пустяки! Брось нагнетать страхи!..»

Уходя, Володя повернулся ко мне, признался:

– Я, старик, заметил: как выпью, так хоть тресни – ничего путного не могу придумать. Рифма бежит резво, и много строк наваляю, а на трезвую голову гляну – мусор! Эх, старина, завидую тебе – всегда трезвый. Мне бы так, а?..

Проводил Володю до дома. Людмила и ее мать, завидев нас, всплеснули руками.

Я чувствовал себя виноватым.

Госкомиздат России помещается вблизи Никитских ворот, на улице Качалова, и тут же рядом – церковь св. Вознесения, где венчался с Натальей Гончаровой Пушкин, – в охраняемом государством Дворце, куда, будто бы, и пришли новобрачные после венчания.

В кабинет председателя вели дворцовые двустворчатые двери, украшенные золотыми вензелями, старинными, сиявшими от золота ручками.

Кабинет был огромный, как и всякого министра, – хозяин его при появлении посетителя не поднимал головы, а ждал, когда тот приблизится к его столу. Еще при встрече у Фирсова я заметил, что Свиридов «туговат» на левое ухо, и потому предусмотрительно зашел с правой стороны, сдержанно поздоровался.

– Садитесь, – сказал Свиридов, не подавая руки. Он был невысок ростом, с красивой шевелюрой волнистых седеющих волос, – выглядел молодо.

Отстранил на столе бумаги, откинулся на спинку кресла.

– Ну, как на свободе? Не скучновато?

– Поэт Алексей Марков, никогда нигде не служивший, говорит: самый несвободный человек – это свободный человек.

– Марков скажет. Горазд на хлесткое словечко.

Хозяин кабинета помолчал, тронул для порядка бумаги. Неожиданно сказал:

– Вы в Литературном институте учились, наверное, знаете многих литераторов?

– Не сказал бы, что многих, но кое-кого...

– Мы сейчас новое издательство создаем – «Современник». Важно подобрать туда серьезных людей. Вот... Юрий Панкратов. На курсе с Фирсовым учился, – вы тоже должны знать его.

– Давно мы учились, люди меняются. Раньше его «Литературка» хвалила, до небес возносила, потом бросила. Чем-то не потрафил.

– Когда поднимали его – во времена Кочетова?

– Да нет, уж при Чаковском.

– Чем же он... не угодил Чаковскому?

– Панкратов Пастернаку молился, на даче у него дневал и ночевал, – тогда его поднимали, а тут вдруг бросил учителя, разошелся с ним. Ну, его и кинули в колодец. Ни слова доброго о нем.

– Да, похоже на то. Он, говорят, поначалу все черным цветом мазал.

– Было такое. Вот как он Россию в то время представлял:

Трава зеленая,  
Небо синее.  
На воротах надпись:  
«Страна – керосиния».

– Вот, вот... Такой-то Чаковскому подходил.

Говорит басовитым, нутряным голосом. В глаза собеседнику долго не смотрит. Я во время своей корреспондентской службы выработывал способность: смотреть в глаза собеседнику. Ценил и завидовал тем, кто этим даром обладает в высокой степени. Свиридов такой способностью не обладал, и в одной позе не сидел – то отклонится в угол кресла, то подвинется к столу. Однако говорил умно и дело свое, видимо, знал хорошо.

– Ну, так как – станете рекомендовать его в новое издательство, на редакцию поэзии?

– С ходу так – не могу. Если позволите, спрошу у верных людей, тогда и вам доложу.

– Да, да, – я вас попрошу об этом. И вот еще – Валентин Сорокин. Этот нас особенно интересует.

– Сорокина я знал еще в Челябинске, – тогда он на металлургическом заводе работал машинистом подъемного крана.

– Крановщиком? Не металлургом?

– В мартеновском цехе крановщик – тоже будто бы металлург.

– Именно, будто бы... – буркнул Свиридов, видимо, недовольный теми, кто неточно ему доложил. – Я вот тоже... артиллеристом мог бы назваться, а я был химиком в дивизионе «катюш».

Свиридов после нашей продолжительной и вполне доверительной беседы предложил мне зайти к Карелину Петру Александровичу.

– Побеседуйте еще с ним, – сказал Николай Васильевич.

Со второго этажа я спустился на первый, и здесь, в конце правого крыла здания, располагался издательский главк – Росиздат. В небольшом кабинете сидел главный редактор всех издательств России – Карелин или ПАК, – так его сокращенно называли в комитете.

Петр Александрович, завидев меня, не удивился, – видимо, Свиридов его предупредил.

Только сказал:

– И тебя... «скушали» в «Известиях».

– И да, и нет. Сам ушел, но, конечно, припекло, – вот и ушел.

Нам вместе привелось работать в «Известиях». Он был заместителем редактора по разделу литературы и искусства – заказывал мне статьи, охотно их печатал. Мне нравился этот высокий, интеллигентный человек с легким и веселым характером. Он много знал и умел о любом пустячном случае забавно рассказывать.

Посылая меня в комитет, Фирсов сказал:

– Там Карелин... Имей в виду: это первый у Свиридова человек, его доверенное лицо и советник.

Узнав, что я на свободе, Карелин без дальних предисловий предложил мне должность своего заместителя. При этом сказал:

– Я скоро пойду на пенсию. Вот мне достойная замена. И рассказал: комитет только что получил решение правительства о создании нового мощного издательства «Современник». В нем будут печататься только художественные книги – проза и поэзия. И небольшая редакция критико-публицистической литературы. Строго определена пропорция: 80 процентов книг – писателей российской периферии, 20 процентов – москвичей. В год будет издаваться 350 книг, – каждый день книга.

– Свиридов поручил мне подобрать редакторский состав.

Первый день работы в комитете напомнил мне Тракторный завод в Сталинграде, где двенадцатилетним мальчиком, приписав себе два года, начал я трудовой путь. Учился я на токаря, но скоро мастер подвел меня к строгальному станку, показал, как на нем работать, и велел отстрогать планку. На другой день мне уже пришлось работать на двух станках – токарном и строгальном, а очень скоро заболел рабочий, и меня тут же научили долбить фаски, канавки на станке долбежном. Прошло три-четыре месяца, мастер попросил меня остаться на вторую смену. Так четырнадцать часов я непрерывно переходил от станка к станку, долбил, строгал, точил детали. В десятом или одиннадцатом часу полуночи я в изнеможении присел на штабель деталей и подумал: «Неужели всю жизнь... вот так... от станка к станку?»

В комитете не было станков, тут ничего не надо было строгать, точить, – тут надо было сидеть. С десяти утра до шести вечера. Каждый день. Безотрывно, безотлучно. Сидеть и... не делать глупостей. Боже упаси, если в беседе с посетителем или сотрудником что-нибудь не так скажешь, не так оценишь бумагу, не то ей дашь направление...

Тут надо было быть умным. Или изображать из себя умного. Если же у тебя не было ни того, ни другого, – надо было больше молчать. И покачивать головой – не очень сильно, но так, чтобы и посетитель, и сотрудник, общающийся с тобой, не могли понять истинный ход твоих мыслей. И тогда им нечего будет о тебе говорить.

Карелин был вечно в отсутствии. Он обыкновенно вечером звонил мне на квартиру, говорил:

– Завтра буду писать доклад председателю (или речь на какой-нибудь книжной выставке, или выступление на приеме, на банкете, на встрече...). Запрусь где-нибудь в свободной комнате, – ты меня не ищи.

Я принимал на себя поток посетителей. Нельзя сказать, что это был непрерывный поток, что народ валил к нам в кабинеты. Нет, народ в наших коридорах не толкался. Да в сущности, здесь и не было народа – были писатели, ученые-литераторы, да из наших, ведомственных, директора издательств и главные редакторы.

Помню, в первый же день заявился Илья Бессонов – наш известинский журналист, корреспондент по Ставропольскому краю.

– Ты здесь? – удивился он.

– А ты?

– И меня «съели». Я теперь директор ставропольского книжного издательства. И вот – написал роман.

Вытащил из портфеля объемистую рукопись, положил на стол.

– И что же? Хочешь, чтобы я почитал?

– Конечно! И дал бы добро на печатание в нашем издательстве.

– А я... разве имею такое право?

– А кто же? Здесь порядок таков: директора издательства или главного редактора в их собственном издательстве могут напечатать только с разрешения Карелина. Ну, а ты – его заместитель. Тут до тебя был Николай Иванович Камбулов. Раньше он все дела такие прокручивал.

– Ну, тогда оставляй. Только я, конечно, посоветуюсь с шефом.

Бессонов рассказал о бедах своего издательства. Бумаги мало, писатели стонут, по пять лет ждут своей очереди.



– А ты тиражами маневрируй. Уменьшишь тиражи, больше имен выпустишь.

Бессонов выпучил на меня глаза. «Не шутишь ли?» – говорил его взгляд.

Популярно мне объяснил, что большие тиражи выгодны издательству и типографии. Рукопись подготовили, завели на поток и – шлепай. Отсюда прибыли, премии...

Кажется, я «сморозил» первую глупость. Хорошо, что на своего напал.

Позже мне станет ясным главный механизм, угнетающий наше книгоиздательское дело. Громадные тиражи! Сотня тысяч! Полмиллиона! А то и больше.

Пушкин, Гоголь, Некрасов, да и писатели нашего века – Есенин, Блок, Маяковский издавались малыми тиражами – три тысячи, пять... На бумаге, которую мы тратим ныне на одного писателя, можно было издать десять, двадцать авторов.

Бессонов раскрывал передо мной дверь, ведущую к одной из самых важных тайн партийной политики, – а точнее, политики «серых мышей» и их «полководца», «красного кардинала» Сулова: переключить бумагу и всю полиграфическую мощь страны на авторов, живущих в больших городах. Из той же политики пошли закрывать издательства в российских городах, их все больше сосредоточивали в Москве и центрах республик.

Петр Александрович Карелин имел много достоинств: он прекрасно владел пером – еще до войны был собственным корреспондентом «Известий» по Дальнему Востоку и, как я слышал в редакции, «хорошо писал». Литературная одаренность и превосходные знания общественных процессов, – в особенности же издательских дел, – помогали ему быстро, толково писать всевозможные отчеты, доклады, речи и т.д. О председателе же говорили, что он «ворчун», привередлив, и угодить ему мог только Карелин. Приближенные председателя – помощник, заместители, начальники главков – в отсутствие Карелина чувствовали себя беспокойно, не с кем было посоветоваться, уточнить, согласовать... Бумаги им возвращали на доработку по несколько раз, – всех трясло и лихорадило.

Понятное дело, я не мог заменить Карелина; ко мне заходили, спрашивали, когда будет Петр Александрович, и – уходили. Всерьез меня не воспринимали.

До меня на моем месте работал Николай Иванович Камбулов – бывший корреспондент «Красной звезды», крупный военный писатель, лауреат высшей военной литературной премии. Он, конечно, был дока – и умен, и отличный специалист, но и о нем втихомолку говорили: «Против Карелина слабоват».

Мне в этих условиях работать было и тревожно, и неудобно. Благо, что первое время ко мне и не обращались с серьезными делами.

Карелин, заболев, оставил недописанным какой-то сверхважный доклад. Для доработки его была составлена группа сотрудников во главе с заместителем председателя.

Через два-три дня по коридорам нашего главка забегали: Свиридов недоволен работой группы.

К вечеру тревога усилилась. Я к тому времени уже со многими перезнакомился, имел приятелей, – они доверительно сообщали:

– Председатель лютует, все не так и не эдак, а через неделю у него доклад.

Заключали:

– Капризный, как девица! Если уж делал не Карелин, так всех замучает.

За десять минут до конца работы по внутреннему телефону позвонил Свиридов:

– Чем занимаетесь?

– Да вот... собираюсь домой.

– Зайдите на минуту.

Шел вверх и думал: хорошо, что не ушел домой раньше времени.

Кабинет за золотыми вензелями казался пустым и бесприютным. Ковровая дорожка, как тропа на Голгофу, вела к столу, за которым одиноко и как-то жалко сидел маленький сутуловатый человек с облитой серебром шевелюрой.

– Садитесь. Тут вот дело есть...

Стал поспешно перебирать листки, на которых значились цифры, сведения, нужные для завершающей части его доклада. В промежутках между объяснениями недовольно, басовитым голосом ворчал:

– Все тут ясно, и нужна-то самая малость, а они пишут какие-то безликие, шаблонные фразы. Повторяют газетные передовицы. как попугаи...

И когда все объяснил, сказал:

– Поняли?.. Все это надо изложить на двух-трех страницах.

– Понял. Николай Васильевич, но, боюсь, не совпадут стили. Я не горазд подлаживаться, пишу по-своему.

– А так и надо – по-своему. Зачем же вот, как они, – копируют черт знает что. Надоела газетная трескотня, – а они в доклад суют.

Я взял папку с бумагами и простился.

К тому времени вышел из печати мой роман «Подземный меридиан», – как мне рассказывал Фирсов, Свиридов его читал.

– И что сказал?

– А ничего не сказал. Он и всегда так: мнение о книгах высказывать не торопится. Мои вот все сборники читал и знает, что Шолохов меня первым поэтом числит, а Свиридов – молчок.

– Ты бы потряс его.

– Однажды по пьяному делу к горлу подступился: что думаете о стихах? Только и вытряс: «Время найдет тебе место на полке». Такой он, Свиридов. Бирюк!..

– И то сказать: похвали нашего брата – собрания сочинений затребуем.

Придя домой, сразу после ужина сел за машинку. Написал окончание доклада. В трех экземплярах, по всем правилам машинописи.

Утром принес Свиридову. Он тут же, при мне, прочел. Потом полистал страницы и снова прочел. Спросил:

– Сам печатал?

– Сам.

Сунул доклад в папку, внимательно оглядел меня, словно к чему-то примеривался. Подвинул к себе другую папку, сказал:

– Вот здесь приветствие Георгию Маркову. У него юбилей, круглая дата, – надо бы потеплее.

Я молчал.

– А?.. Что скажете?..

– Попробую.

Уходить не торопился. Хотелось узнать, что же думает председатель по поводу доклада. Но он молчал. Не поднимая головы, буркнул:

– Можете идти.

Я написал поздравление писателю Маркову – председателю Союза писателей СССР, – машинистки отпечатали на комитетском бланке, – но относить не торопился.

Вечером, за десять минут до конца работы, председатель позвонил.

– Чем занимаетесь?

– Да вот... собираюсь домой.

– Поздравление написали?

– Написал, Николай Васильевич.

– Заходите.

Свиридов и на этот раз прочел поздравление. И, ничего не сказав, сунул в папку. Склонился над стопкой бумаг, читал, подписывал. Или на углу писал распоряжения.

Я сидел и чувствовал себя неловко. Я почти был уверен, что и доклад, и это поздравление Свиридову не понравились, и он уже жалел, что пригласил меня на работу, – и, наверное, он хотел бы мне об этом сказать, но из приличия деликатно дает понять, ждет, пока я сам пойму и запрошусь обратно на свободу. Признаться, догадка такая меня не обескуражила, не огорчила, наоборот: я внутренне возликовал, вновь увидел себя на даче, под солнцем, – в Радонежском лесу, которого вид один до краев наполнял меня восторгом. «Вот выйдет Карелин, и я скажу... возьму документы и будто бы здесь не работал. Уйду, уйду... И сегодня же объявлю об этом Надежде».

– Ну, я пойду, Николай Васильевич.

– Погоди.

И продолжал читать, подписывать.

Двойственное отношение было у меня к этому человеку. Он мне импонировал какой-то мужской крепостью, славянской основательностью и, в то же время, отталкивал сухостью, чиновным снобизмом и высокомерием. Ну, министр, важный человек, – может, не случайно поднялся на эту высоту, – но никакая должность не дает право относиться к человеку вот так, – небрежно, словно перед ним стол или тумбочка. Такого права я ни за кем не

признавал, – и не потому, что, как представитель правительственной газеты, пользовался всегда повышенным вниманием и был этим избалован, – нет, я еще на фронте, будучи командиром взвода, а затем командиром батареи, – и в очень молодом возрасте, мне было всего лишь двадцать лет, – я самой боевой жизнью, обстановкой суровых, подчас смертельно опасных обстоятельств, был приучен уважать человека – бойца, творившего на глазах у каждого свой великий подвиг. И уже позже, на журналистских дорогах, встречал негодяев и людей красивых, – конечно же красивых неизмеримо больше! – вникал в их судьбы и стремился им помочь, и за многих вступался в драку... Я в своей непростой, неровной и многоцветной жизни научился слушать, думать, сочувствовать – искать в человеке человека. Приглядывался к Свиридову и, может быть, впервые так сильно затруднялся в разгадке тайн человеческой природы.

«Бирюк... капризный», – говорили о нем в комитете, а иные острословы называли Звиридовым, намекая на его суровость... А и в самом деле: выполнил для него работу, сидел дома, в часы отдыха, – ну, плохо, – так и скажи: не получилось, не так надо; и это поздравление Маркову... Себя насиловал, заставлял писать то, что я о нем не думаю, – хвалил, славословил, а он, Марков, ничем таких слов не заслужил. Сидит в Союзе, что-то там делает, – а что? – не слышно. Так бы и написать ему, а я писал не то, что хотел, а то, что бы должен был сказать председатель комитета...

Сильный, большой человек – он непременно и щедрый, душевный. По-царски: и одарить может, и поднять человека, воодушевить. Как же без этого!..

Не понимает моих тайных тревог и мучений – и не думает ни о чем таком, а изображает из себя мудреца, всезнайку.

Пытался анализировать его как писателя, – как бы Достоевский изобразил его внутренний мир, Тургенев, Толстой?.. Наверное бы раскатили, представили бы в неприглядном виде... Маску мудреца накинул – оракула, ментора, провидца. Все люди для него на одно лицо, слились в одно серое пятно – коллектив, аппарат... Поманю пальцем – подойдешь, махну рукой – удалишься. И нет ни у кого ума, характера, взгляда собственного, своеобычного.

Да ведь это же верх примитивизма, верхоглядства, – да он сам такой, какими других представляет! Неужели?..

Являлись, впрочем, и другие мысли. Дитя своей среды, сын правящего партийно-государственного аппарата. Долгое время в ЦК работал, а там – негласный запрет на свой взгляд, свое мнение. Приехал куда-нибудь в командировку: умеи слушать и... молчать. Не дай Бог вольное слово высочит, – за мнение ЦК примут, указание, устную директиву. Вот и научились молчать, и производят такое странное впечатление: вроде бы и ничего мужик, а слова душевного не жди, похвалы не добьешься. И кажется людям, что умерло у него все внутри, – машина там, а не ум и сердце!..

Невольно вспомнился рассказ Фирсова о том, как во время войны молодой лейтенант Свиридов, бывший начальником химслужбы дивизиона гвардейских минометов «Катюш», спас боевую технику от верной гибели. Попал дивизион в ловушку – со всех сторон немцы, а отступить не могут: горючего в машинах нет. Нависла угроза плена, – надо уничтожить секретное оружие, на то особый приказ есть. Но как же лишиться свои войска такой мощи? И Свиридов идет на отчаянный шаг: переодевается в форму немецкого офицера и ночью заползает в расположение противника. Здесь он облюбовал бензовоз, прикончил в кабине спящего водителя и включил двигатель. Разогрел его, а затем выехал на дорогу, и – к своим. Немцы и сообразить не успели, как бензовоз был уже среди «Катюш». Быстренько заправили машины и под покровом ночи выбрались в безопасное место.

Наутро дивизион ударил по расположению войск противника.

Вот ведь и таким был он – «Бирюк», «капризуля», «Звиридов»!

Успокаивал, утешал себя единственной мыслью: человек он большой, несет на плечах груз государственных забот, – к нему не подходят обычные мерки.

«Ну, не подходят – и ладно, и Бог с ним. и нечего мне ломать голову».

Философия удобная, сохраняющая комфорт бытия.

И я уже не обижался на Свиридова, ничего не ждал от него, не требовал.

– Я просил навести справки – о Панкратове, о Сорокине. Кто из них больше подходит на редакцию поэзии?

– Узнавал, Николай Васильевич, но рекомендовать не решаюсь. Панкратов с леваками расплевался, будто бы тверд против них, а Сорокин... Ему культуры не хватает. В журнале «Молодая гвардия» поэзию ведет, но... неровен, горяч. Взбалмошный. Не знаешь, куда шархнется. Пока же... на леваков бочку катит. Сионистов напролет несет, в выражениях не стесняется.

Свиридов слушал внимательно, в карих глазах его сверкал огонек одобрения, – молодого азарта и задора. Покачивал головой, улыбался.

Я ему эпизод рассказал – сам от кого-то слышал.

Едут с какой-то встречи в микроавтобусе шесть или семь важных литературных персон. Известные поэты, маститый писатель и два секретаря Союза писателей. Один из секретарей держит в руках небольшую, подаренную рабочими скульптуру: «Мать-Россия». Пытается куда-то ее положить, зубоскалит:

– Ах, Мать-Россия, Мать-Россия!.. Куда же тебя засунуть?..

И когда нелепый каламбур повторил два-три раза, из угла салона раздался металлический звенящий голос Сорокина:

– Ты, хмырь болотный, прекрати глумиться над святыней, не то я сверну тебе шею!..

Всем стало неловко, заулыбались, а кто-то сказал:

– Ну, ладно, ладно, Валя. Уймись.

Свиридов в этом месте даже привстал от возбуждения. И тихо, но явственно произнес: «Молодец, Сорокин!»

Я понял: лучшей характеристики Сорокину я и дать не мог. Свиридов поднялся:

– Вы где живете?

– В Черемушках. У метро «Профсоюзная».

– Пошли, подвезу вас.

Во дворе у машины Николай Васильевич задержался, посмотрел на небо; оно было ясным и чистым, в воздухе разлилась теплынь.

– Может, пройдемся до Никитской? – предложил Свиридов.

Вышли на улицу Качалова, направились к Садовому кольцу.

Свиридов заговорил о своем помощнике Морозове, хотел бы заменить его, но не видел подходящей кандидатуры.

Я думал, он сейчас попросит подыскать нового человека, но председатель стал говорить о том, что хорошему помощнику он бы и кремлевское снабжение устроил, закрытое ателье, лечение в системе Четвертого управления, и была бы машина, и даже квартиру в хорошем доме мог бы дать.

Помолчав, продолжал:

– У него и дел-то – сидеть в дубовом кабинете. У меня заместитель так не устроен, как помощник. А дел?.. Самая малость. Разберет депутатские письма, чего надо доложит, соорудит ответы...

Я знал: у министров, с которыми я встречался, их депутатскими делами занимались помощники. Читали письма, определяли, какое куда отправить для принятия решений, сами же по раз заведенному штампу писали ответы. Это была пустая формальность, чудовищное фарисейство, глумление над основным правом человека – апеллировать к родной советской власти. Власть эта и не слышала, не хотела слышать голоса народа, – а Свиридов, как народный депутат в российском парламенте, не был исключением, – он, верно, и не задумывался над таким порядком дел. Таково было время, таковы были нравы.

Проходили мимо Дома литераторов. Свиридов предложил:

– Зайдем.

Зашли, но вахтер нас не пускает.

– Только для членов Союза писателей.

Свиридов – ко мне:

– У вас есть членский билет?

– Нет, Николай Васильевич.

Подошли знакомые писатели. Провели нас.

Заказали ужин, вино, коньяк. Николай Васильевич пил охотно, но немного, – он точно знал свою меру. Однако мне было ясно: пьет он давно, регулярно, – у него уже развилась зловещая потребность к спиртному зелью. Все чаще и чаще задумывался я об этом коварном, мало кому известном явлении: культурном винопитии. Это такая «приятная» особа, которая подкрадывается к человеку незаметно, является с манящей, обаятельной улыбкой, мягко захватывает в кошачьи объятия и ведет... к обрыву. Люди эту коварную особу не замечают; даже такие высокие персоны, как министр, депутат, – и они, подобно слепым котяткам, ступают на скользкую дорожку и потом валяются в пропасть.

Пройдет двадцать лет с того дня, и Свиридов окажется на самом дне этой пропасти, но это произойдет потом, через два десятка лет, сейчас же... попробуй, скажи ему об этой неминуемой опасности. Скажи Фирсову, Шевцову, Чалмаеву и многим-многим моим товарищам, которые вот так же, как Свиридов, пьют «культурно», «интеллигентно».

Многочисленные мои знакомства, встречи на журналистских дорогах, – наконец, знание литературной среды, – привели меня к печальному выводу: интеллигенция больше подвержена алкоголю, быстрее спивается. И хотя запойных алкоголиков среди культурных людей не так много, но тихих и глубоких пьяниц тут встретишь больше, чем в обычной трудовой среде.

Ленинградский писатель Борис Четвериков рассказывал, как он, вернувшись из заключения, приехал в Москву устраивать свои издательские дела. В Доме литераторов его угощают, а он: «Я не пью, вы уж без меня...» На него посмотрели с недоумением. Кто-то доверительно посоветовал: «Смотри, не скажи об этом в Союзе писателей».

Но, может быть, это только в среде журналистов и литераторов так дружно служат Бахусу? К несчастью, и все другие люди умственного труда больше, чем рядовые труженики, подвержены дурной склонности к винопитию. Близкое знакомство с академиком Угловым, совместная работа над созданием книг свели меня с миром медицинским, – и все больше с профессорами, академиками. Они так же дружно и без особых сомнений потребляли спиртное. Федор Григорьевич мне рассказывал, как он однажды разделил трапезу с товарищами по академии, – и за столом рядом сидел известный хирург академик Вишневский. Видя, как Углов уклоняется от рюмки, Вишневский сказал: «Ты, Федя, зря ее не жалуешь, бутылочку. Если бы ты пил, как все, давно был бы членом Большой академии и был бы отмечен многими лауреатскими медалями».

Люди науки, искусства с легкостью, и даже каким-то бесшабашным шиком, соскальзывают к спиртным застольям и отравляют свой просвещенный и зачастую талантливый ум. Тут с давних времен, из аристократических салонов, из званных и незванных обедов, с балов и банкетов тянется традиция обильных трапез и спиртных возлияний. К тому же и времени свободного в этой среде больше, и вино доступнее. Так шло из глубины веков, складывалось исторически, – формировалась психология людей, более склонных к винопитию, чем это принято в среде простого народа.

Впрочем, таким-то умным и я тогда не был; понимал, что на дне рюмки живут большие беды, но вот того, как теперь... Нет, конечно, таких глубоких и осознанных убеждений в необходимости абсолютной трезвости у меня не было.

Тихонечко, культурненько попивал вместе с другими. Ну, а если уж случай выпал разделить трапезу с самим министром, – тут, казалось мне, и Бог велел.

Боясь показаться ломакой, пил наравне со Свиридовым. И после первых же двух-трех рюмок коньяка с ужасом ощутил, что слабею. Голова кружилась, поташнивало, – видимо, сказывалась усталость, пустой желудок. Нервное напряжение, неловкость от близости высокого, малознамого человека усугубляли состояние. Склонился над тарелкой, поспешно ел.

Николай Васильевич выпил еще одну-две рюмки один и тоже расслабился. Речь его как бы сошла с тормозов, стала раскованной.

– А мы земляки, – заговорил он, – я тоже пензяк – из Сердобского района, а вы из Бековского. Вы с одной стороны Хопра, мы с другой. Бывало, в детстве, заплывем далеко, а вы нам рукава на рубашках узлом завяжете. Мне кто-то так затягивал, зубами не разодрать. Может, и вы там были, на той стороне.

– Нет, не был. Наша деревня далеко от Хопра. Мы не купались. А если бы я, так что ж, вы бы теперь по службе меня прижали?

– Я не злопамятен. Можете не беспокоиться.

И снова перешел на занимавшую его тему:

– Помощник мне нужен. Вот если бы такой, чтоб и умный был – умнее начальников главков, и писать умел. Очень это важно – уметь писать. Так, чтобы прочел и ничего править не надо. Бумага с колес должна идти, а у нас... десять раз завернешь, пока что-нибудь выбьешь.

Я и на этот раз ожидал, что попросит найти подходящего человека, и уж прикидывал, кого бы предложить, но Свиридов ничего не говорил.

Домой он подвез меня на машине, но зайти ко мне отказался. Поехал к себе на Кропоткинскую, где он жил в особом охраняемом доме, в хорошей, четырехкомнатной квартире. Детей у него не было, жили они вдвоем с супругой Ларисой Николаевной. Она работала в отделе кадров ТАСС.

Часа через два я позвонил Карелину, справился о здоровье. Он стал жаловаться на Блинова:

– Многое Андрей уже упустил: пришел в издательство, а там принят на работу первый редактор, – и возле него уже крутятся два молодца. И заместитель директора назначен – Евгений Михайлович Дрожжев. И главный художник – из Перми подтянули, фамилия Вагин. И все назначения без него, без ведома главного редактора. Словом, беда с издательством: не успели чернила просохнуть на решении правительства о его создании, а туда уж ломехузы заползли.

– Что это – ломехузы?

– Ах, есть в природе жучок такой. Как-нибудь расскажу.

– А вы, Петр Александрович, полежали бы, а телефон бы отключили. С большим сердцем и – волноваться.

– Пробовал, отключал. Да только покоя нет. Все думаю: как там да чего там. Большую это глупость сделали – назначили директором Прокушева. Пустили козла в огород.

– Свиридов меня приглашал – о помощнике говорил.

– Тебе не предлагал?

– Нет, мне не предлагал.

– Ну, вот... суров мужик, а и деликатен. Хотел бы тебя в помощниках иметь, а предложить стесняется. Боится оскорбить таким предложением. Но и то верно: не для тебя эта должность. Слишком жирно будет людей таких в референтах держать. Он мне только что звонил, советовался. Я сказал: «И думать забудьте!.. Его в пору первым заместителем к вам, а не холуем на побегушках, что это вы, в самом деле, забрали себе в голову...»

Я слушал, а сам думал: «Знает ли Карелин, что мы со Свиридовым в Доме литераторов были?.. Нет, не знает. И хорошо. Правда, в Доме литераторов нас видели, да никто из подходивших ко мне не знал Свиридова в лицо».

Еще раз посоветовал Карелину не думать о делах – отдохнуть, отлежаться.

Сердце его, уставшее от житейских невзгод, от трудных журналистских дорог, от ленинградской блокады, трудилось из последних сил.

Судьба близко свела меня с очень интересным и талантливым писателем Андреем Блиновым. Уйдя из «Известий» на свободу, я написал роман о металлургах «Горячая верста» и повез его в «Профиздат». Принял меня главный редактор Андрей Дмитриевич Блинов. Я читал его рассказы и повести, мне нравились его герои, – крепкие своей славянской сутью северные вятские люди, – нравился язык, сочный, поэтический. В моем понимании Блинов стоял рядом с ведущими писателями пятидесятих-шестидесятых годов. С одной стороны, я рад был, что моя рукопись попадала в руки маститого писателя, с другой – боязно было его суд изведать.

Разговорились. Оказалось, что дача его – с нами по соседству. Я пригласил его. дал адрес, – без надежды, конечно, что он к нам приедет. Но Блинов приехал. И скоро – дня через три. Смотрю: у ворот зеленая «Волга», за рулем – милая, совсем юная девушка, его дочь. Вышел и он, – с палочкой, прихрамывая.

Блинов – фронтовик, ранен в бою.

На лице улыбка, тянет руку, говорит:

– Вот вы где! Слышал про ваше Радонежское братство, а бывать не приходилось.

На веранде, усаживаясь в кресло, сказал:

– Роман прочитал. Будем печатать.

Я едва скрывал волнение от радости. В то время в «Московском рабочем» печатали мой роман «Подземный меридиан», а тут приняли и «Горячую версту». На какое-то время я обрел материальную независимость, – мог оставить работу в комитете, которая, кстати сказать, была не по мне, уединиться на даче и писать новые книги.

Так произошла моя встреча с Блиновым. Скоро этот человек мою жизнь направит в русло, где я вплотную столкнусь с литературным процессом, увижу и познаю грани жизни, доселе мне неведомой.

Блинова назначили главным редактором издательства «Современник», и он предложил мне стать его заместителем по прозе.

С сожалением покидал Карелина и Свиридова, – одно лишь утешало: оставался под началом этих умных, самобытных и интересных людей.

Прошел месяц, другой, и вдруг звонок:

– Говорит Свиридов. Привет! Чем занимаетесь?

– Отбираем рукописи, Николай Васильевич. Составляем план.

– И как? Интересные рукописи?

– Всякие попадаются. Есть и неплохие.

– Всякие нам не нужны. Надо искать хорошие рукописи.

– Ищем, Николай Васильевич.

Наступила пауза. Я думал: чего-то он звонит? Понадобился зачем-то.

Следует вопрос:

– Во сколько кончаете работу?

– В шесть, Николай Васильевич.

– Приезжайте сейчас. Автомобиль у вас есть?

– Нет. На троллейбусе ежду. А если к вам – на метро.

– Ладно. Приезжайте.

Около семи часов вхожу в кабинет. Министр читает документы, подписывает, глаз не поднимает.

– Ну, как там?

- Ничего. Налаживаем процесс рецензирования, редактирования. Набрали корректорскую бригаду.
- Откуда знаете, как налаживать? Опыта нет у вас.
- У меня нет, у других есть.
- У кого – у других? Прокушев, что ли, знаток великий? Или Сорокин?
- Блинов знает. Он главный, мы с Сорокиным заместители.
- Один Блинов и знает кое-что. Собралась компания!
- Так ведь не сами собирались. Приказом назначены.
- То-то и есть – не сами.

Я уже немного знал эту его манеру ворчать. Неизвестно на кого, но ворчать. Он таким образом выговаривал свое недовольство ходом дел, чем-то таким, что совершалось помимо его воли и что ему не нравилось. Слышал сердцем доверительность в его словах, он таким тоном и такой манерой свидетельствовал свое расположение к собеседнику, приглашал к беседе неофициальной, почти дружеской.

Закончив дела, поднялся, сказал:

- Может, пройдемся по Москве, а?.. По морозцу-то – хорошо!

Спускаясь по лестнице со второго этажа, продолжал:

– Хожу мало – вот что плохо. Телеса деревенеют. Работал он очень много, являлся на службу в восемь и уходил в девять, десять. Он был строг, но справедлив, неприветлив, но доступен. К нему мог прийти каждый, он внимательно выслушивал, обещаний лишних не давал, но искренне стремился помочь человеку. Нельзя сказать, чтобы его любили, но комитет при нем работал четко, во всех звеньях поддерживалась строгая дисциплина. Впрочем, даже за немногие месяцы работы в комитете я заметил одну особенность: на ключевые посты в издательствах, типографиях он ставил людей деловых, честных, – патриотов. И если сверху сильно нажимали, кого-то проталкивали, он упирался, доказывал несостоятельность кандидатуры, но затем все-таки сдавался. Мне такая позиция председателя не нравилась, я говорил об этом Карелину, но наш мудрый «ПАК». или «Хитрый лис», как его еще называли, всегда защищал Свиридова. Говорил, что если бы он поступал иначе, то он не сидел бы так долго в кресле министра. А еще ПАК высказывал догадку: «Очевидно, там, в верхах, есть законы, которых мы не знаем».

Так или иначе, но всякий раз в подобных случаях авторитет Свиридова в моих глазах понижался. Однако могу заметить, что в сравнении с нынешним хаосом и всеобщим разорением то время мне кажется раем, и я теперь не могу представить, удастся ли нам когда-либо наладить тот порядок в книгоиздательских делах России, который был при Свиридове.

Пешком мы шли до Арбатской площади и как-то незаметно очутились у дверей ресторана «Прага». Суровый швейцар замотал головой: «Мест нет». И отвернулся. Свиридов, депутат Верховного Совета России, мог бы показать красную книжку, но он никогда этого не делал. Постояв с минуту, двинулись в сторону Гоголевского бульвара. Было холодно, мела поземка, – я понял, что Николай Васильевич хочет посидеть в тепле, поужинать, выпить. Тут недалеко был его дом, но домой он идти не хотел, я бы мог пригласить его к себе, да считал такую фамильярность неудобной. Сказал:

- Да пойдёмте к Блинову, он тут живет рядом. Свиридов нехотя, но согласился. Видно, очень хотелось выпить.

Позвонили. Дверь открыл Андрей Дмитриевич.

- Иван!.. Проходите!..

Свиридов стоял у меня за спиной, Блинов его в первую минуту не разглядел. Но если и бросились в глаза знакомые черты, то, конечно же, и мысли не мог допустить, что к нему вот так просто мог пожаловать председатель комитета.

В прихожей мы разделись, и тут Блинов узнал Свиридова, но еще не был уверен и, нагнувшись ко мне, хотел спросить, но я опередил:

- Да, да, Андрей Дмитриевич. Не видишь, что ли? Николай Васильевич, своей собственной персоной.

Блинов протянул руку.

- Вот хорошо! Решили посмотреть, как живет ваш бедный подчиненный. Очень рад! Проходите, пожалуйста, сюда, – вот в эту комнату.

- Да, да, бедный, – буркнул под нос Свиридов. – Очень бедный.

В то время Блинов часто печатался, – в разных издательствах, одна за другой, выходили его книги. И это, видимо, служило поводом для реплики председателя: «...бедный, очень бедный».

Блинов проводил нас в гостиную, а сам метнулся на кухню. На столе в миг появилась батарея бутылок – тут и египетский ром, и французский коньяк... И фирменная блиновская картошка дымилась, – тогда она была еще без нитратов.

Мы сидели в небольшой гостиной, – в шкафах было много книг, светилась дорогим узорочьем редкая посуда.

Выпили по рюмке, по второй. Некоторое время все молчали, – и Блинов, обычно шумный, скорый на острое задиристое словечко, не знал, о чем завести речь. Молчал и Свиридов. Деликатность и вообще-то характерное свойство русских людей, но тут она оттенялась еще и необычностью обстановки, разностью наших положений. Блинов хотя и был крупный писатель, и сам занимал важные посты в журналистике, в издательском мире, но у Свиридова было в нашем мире особое положение: в комитете его звали «бугор» – то есть высота, которую не обойдешь, не объедешь. А тут сам пожаловал, сидит рядом, – проси чего хочешь.

И Блинов, видимо, соблазненный такой доступностью, но больше подогретый коньяком, подступился к делу:

– Николай Васильевич!.. Нам бы картона на твердые обложки прибавить, качество набора улучшить, в тульской типографии неважно нас набирают...

Я сижу с Блиновым рядом, дергаю его за штанину: «Дескать, о делах-то не надо бы...» Но Блинов тронул меня за плечо, – ты, мол, не беспокойся.

Налил еще по рюмке коньяка, потом еще... И продолжал свои деловые просьбы.

Свиридов слушал их внимательно, но ничего не говорил. Я досадовал на Андрея: такой умный, деликатный во всем человек, а тут наседает, как медведь.

Чувствовал я себя неважно, в голове шумело, губы как-то нездорово и нехорошо сохли. Боялся, как бы еще не стали наливать: тогда бы и совсем расклеился.

Блинов показал на бутылки, спросил:

– Чего еще выпьем?

Свиридов сказал строго:

– Хватит. Мы пойдем.

Поблагодарил за угощение. И в коридоре, уже одевшись, сказал:

– Заявки изложите письменно и пришлите в комитет.

Любопытно, что, когда мы очутились на улице, Свиридов ничего не сказал о назойливых просьбах Блинова. Я решил извиниться за его бесцеремонность, – сказал, что виновато тут вино, а во всех других случаях Андрей очень деликатный и тактичный человек. На что Свиридов заметил:

– Ничего. За рюмкой частенько и решаются многие важные дела. Блинов не себе просит. Он мужик вятский, а я их знаю. Своего не упустят.

Андрей Дмитриевич мне потом сказал:

– Все наши просьбы председатель удовлетворил. И дал нам дополнительные мощности на Калининском полиграфическом комбинате.

Меня спросил:

– Давно ты с ним вот так... в приятелях?

– Да нет, Андрей Дмитриевич. Случайно выходили вместе из комитета, и вот, решили заглянуть к тебе.

– Ладно, ладно, Иван. Молодец, что не рекламируешь дружбу свою с председателем. Но я все вижу, я мужик тертый и всякий нужный мне предмет под землей разгляжу. Председатель – это, брат, не шутка. Я к нему за день перед тем на прием пошел, – так меня в очередь поставили, через неделю обещали к нему пустить, а тут смотрю – сам пожаловал. Нет, это великолепно! Пусть больше дает нам бумаги, материалов, выделяет лучшие машины...

– Но я против того, чтобы вот так, дома, за столом...

– Ах ты, наивный человек! Да если выпьешь как следует, тут язык сам безо всякого контроля вертится, тут уж не до церемоний.

Как-то мы со Свиридовым снова шли по улицам зимней Москвы, и я снова предложил зайти к Блинову. Николай Васильевич не пошел. Он красочно, с театральной интонацией в голосе представил, как бы нас принял Блинов: «Во, скажет – повадился!..»

Тесные, дружеские отношения со Свиридовым соединяли нас многие годы, – я и сейчас, бывая в Москве, звоню ему на квартиру, приглашаю к себе. Но он никуда не идет. А в последнее время уж не изъявляет желаний и встретиться, – не зовет и к себе. И почти всегда говорит заплетающимся языком.

Его рано проводили на пенсию, примерно в то же время у него умерла жена, прекрасная женщина – Лариса Николаевна. Видимо, жизненные катаклизмы усилили его тягу к пьянству, – он теперь много времени посвящал



поискал вина, выстаивал в длинных очередях и на чем свет ругал нас с Угловым – за нашу борьбу за трезвость. Бывало, позвонишь ему, а он ворчит:

– Это вы... наделали делов... Сдалась вам эта борьба за трезвость. Кто хочет пить, он и будет пить. Это уж так... А вы принялись статьями и книгами гвоздить правительство. Вот и стоим... в очередях.

Мне так и хочется сказать: не хлеб же это, не молоко, – можно бы и не стоять, но только думаю об этом и не говорю.

Я переехал на жительство в Питер и звоню ему все реже. Предлагал определить его в группу отрезвления, но он обиделся: «Что я тебе – алкоголик?..» Недавно я приехал в Москву и позвонил ему. Он был совсем пьян. Сказал:

– Иван! Я уже не тот Свиридов. Нет человека, вышел весь...

Я сидел у телефона и не знал, что могу сделать для товарища, для человека, который еще недавно всем нам, знавшим его, работавшим под его началом, светил таким мощным умом. заражал нас волей, цельным, завидным характером. Больше двадцати лет он был председателем Госкомиздата России и сколько сделал хорошего, полезного, важного. Во многих городах построил современные полиграфические комбинаты, вывел наше русское, российское печатание книг, их качество и художественное оформление на уровень лучших европейских печатных фабрик. При нем была решена давняя, казавшаяся неразрешимой проблема – печатание нужного числа школьных и институтских учебников, – они теперь издавались в изобилии и строго по плану. Только за три года моей работы в «Современнике» одно наше издательство выпустило около тысячи книг – новинок российских писателей, около четырех тысяч было отобрано и включено в планы редакционной подготовки. Мы поставили на ноги, укрепили писательские организации во всех областях России, поддержали российских писателей морально и материально, выпустили десятки книг в серии «Первая книга в столице». Все эти дела «застойного периода» кажутся почти фантастическими на фоне нынешней неразберихи и хаоса.

И этот человек, высокообразованный, умный, с могучим характером, жалуется, что-то бессвязно лепечет... «Я уже не тот... Весь вышел...» А ему ведь немногим больше шестидесяти лет! Генерал де Голль в шестьдесят шесть вышел на политическую арену и спас Францию от позора и унижения, за десять лет президентства вывел страну на уровень могучих держав мира. А Свиридов?.. Что же с ним случилось?..

Я говорю:

– Сейчас приеду к вам.

Он отвечает:

– Не надо, Иван. Не приезжай. У меня сейчас будут болгары, – привезут вина. а ты ведь сухой, не пьешь... Не надо. Лучше приезжай завтра.

Назавтра позвонил Свиридову, но мне ответила мать его жены:

– Николая увезли в больницу. У него случилась почечная кома – очень тяжелый приступ.

Я подумал: приехали болгары, и он с ними снова выпил. Вино, вино – причина всех несчастий.

После смерти моей жены Надежды я вступил в брак со вдовой недавно умершего моего товарища, великого борца за трезвость Шичко Геннадия Андреевича – с Люцией Павловной.

И однажды мне позвонил Свиридов.

– Иван, помоги. Хочу избавиться от этой... проклятой страсти к вину.

Я позвал его к себе, определил на занятия к последователю Шичко Владимиру Алексеевичу Михайлову. Свиридов приехал и жил у нас. Иногда ночью часа в три шел на кухню и там писал дневник, который обязательным элементом входит в методику Шичко. Однажды я тоже поднялся, и мы разговорились.

– Я поначалу думал, – сказал Николай Васильевич, – что вы с Угловым занимаетесь пустяками, что борьба за трезвость у нас не имеет смысла, а тут вижу, какое это большое дело. Это же может спасти народ от кошмара пьянства.

Потом задумался и сказал:

– Слышал я, ты книгу написал о пьянстве русских писателей. Тема щекотливая, многие обидятся на тебя, но Сократ сказал: «Платон мне дорог, а истина дороже».

И еще с грустным раздумьем добавил:

– Наши писатели все пьют. Я знаю одного непьющего – это Леонид Леонов.

Прошло несколько месяцев. Бывая в Москве, звоню Свиридову, иногда захожу к нему. Пить Николай Васильевич перестал, а вот литераторы...

На днях получил газету русских писателей «День», и в ней прочел игриво-живописный опус Владимира Солоухина «Камешки на ладони».

«...Рюмка водки, – пишет автор, – перед едой практиковалась давно и во всех слоях общества (где рюмка, а где стакан), но выпить и закусить. Скажем, положить на половинку крутого яйца две кильки пряного посола, убрав у них головки и хвостики, и после рюмки...»

При этих словах знаменитого писателя зайдет дух, так и потекут слюнки.

Но пойдём дальше по тексту:

«...или квашеной капусты навильничек, или соленый огурец, в конце концов, черт возьми! Да и мало ли всего напридумано: холодец с хреном, селедка «под шубой», грибная икра, просто маринованный или соленый гриб, моченые яблоки, салат с майонезом, заливное из судака, розоватые ломтики сала...»

Но нет, дальше дразнить читателя не будем. Картина «напридуманного» славянами за столетия ритуала изображена так сильно, что тут и мертвые запить могут. И сам Магомет, великий борец за трезвость, будь он живым, не устоял бы перед пряным запахом холодца с хреном. Большой художник Солоухин, – и мыслитель немалый! Прочтя эти новые импровизации, невольно воскликнешь: «Надо же! И в искусстве закусывания русский народ преуспел! И тут он поднялся на вершину!» И понятным становится гнев писателя на тех, кто «среди всеобщего распада нравов» посягнул еще и на прелести нашего винопития.

«Но вот собрались за столом гости, – продолжает Солоухин, – мужчины и женщины. Собираются выпить по первой рюмке и, все как один, держат в одной руке рюмку с водкой, а в другой – стакан с лимонадом. Значит, после водки они жадно пьют сладкий парфюмерно-пахучий лимонад, а потом уж после сладкого лимонада берутся за селедку либо соленый огурец. Мрак! И это распространилось по всей стране. А откуда пошло? Из подворотен».

Долго я думал над этим пассажем писателя. Нет, это не юмор, не сатира, не горькая ирония – тут крик души возмущенной, оскорбленной в самой глубине своей. Эка ведь... на что замахнулись! На то, что Солоухину, видимо, привычно и дорого с самой юности, что вливалось в плоть и кровь и чего мы никогда не уступим. Пили, и пить будем! И не как-нибудь, а с уважением к старине, с соблюдением всех правил!

Циник какой-нибудь или ханжа вспомнит о «сморщенных мозгах» у долго и много пьющих людей. «Но что из этого следует? – мог бы возразить Солоухин. – А кто знает, что сморщенные мозги хуже не сморщенных? И к чему тут дурацкие намеки, – дескать, если ты питаешь слабость к ендовой и другим советуешь не воротить нос от нее, так уж и значит, что у тебя мозги сморщились!.. Наконец, и то не следует забывать, что тот же Углов – мы тоже его читали! – пишет, что надо цистерну водки вылакать, чтобы они, мозги наши, того, значит, немного скукожились». А цистерну за год, и даже за десять, за двадцать лет не выдуешь. Тут надо все сорок лет пить. У того тогда не только мозги свернутся набекрень, но и нос займется синим пламенем. Такой молодец, конечно, уж и сам не будет знать, что он говорит и что пишет. Но при этом и еще одно обстоятельство всплывает: автор пописывает, а читатель почитывает, – но лишь в том случае он почитывает, если автора напечатает. Значит, и в редакции должны найтись люди, выпившие цистерну. Говоря языком математики, должны совпасть величины. В случае с опусом Солоухина в редакции газеты «День» эта математическая зависимость удачно сработала.

Блинов тоже пил, но пил умно, незаметно и, как мне кажется, не видел ничего дурного в так называемом «умеренном, культурном» винопитии. Вроде бы не искал случая выпить, но, если такой случай выпадал, прикладывался к рюмке охотно и не думал о своей гипертонии, которая, как я теперь понимаю, от спиртного усугублялась. Болел он все чаще, на работу не приходил, а я, как его заместитель, приезжал к нему на дачу, и там мы решали неотложные дела. Благо, что дачи наши располагаются на одной дороге, и я заезжал к начальнику по пути домой.

Знаменитое Абрамцево – приют и «мекка» российских писателей, имение Аксаковых. Сюда любили приезжать Гоголь и Тургенев, здесь в тесный кружок сходились могучие деятели русской культуры. Здесь жил художник Герасимов. На ровной, как стол, зеленой поляне, в глубине ее, у самого леса, большой, двухэтажный, с тремя подъездами, дом. Андрей Дмитриевич купил его у сестры Молотова. Здесь некоторое время жил и низвергнутый Вячеслав Михайлович. Рассказывают, что Хрущев, задумавший поднимать целину, приехал к Молотову и уговаривал его занять пост министра сельского хозяйства. И Молотов будто бы соглашался, но ставил условие: в местах освоения целины вначале построить дороги, а уж затем распахать миллионы гектаров. Хрущев не соглашался. Молотов настаивал. Хрущев стал ругаться, подхватился и побежал из дома. На крыльце споткнулся и упал. чуть не сломав ногу.

Блинова застаю в глубине усадьбы, в тире, устроенном между вековыми соснами. Он сидит на раскладном стульчике, заряжает малокалиберный пистолет и – стреляет в мишень.

– К дуэли готовитесь? – приветствовал я Блинова.

– Помогает от давления. С полчаса постреляю, и головная боль стихает.

Дал мне пистолет, коробочку патронов.

– На, постреляй. Может, еще пригодится.

Потом мы пошли в дом, там сестра Блинова наварила картошки. Из погреба достала капусты, соленых огурцов, помидор, моченых яблок. Все это приготовлено по-вятски, по старинным русским рецептам, – пахло травами, смородиновым, вишневым листом; каждый огурец или помидор были твердыми и ядреными. будто их только что сорвали.

И на столе, как по волшебству, появились нарядные бутылки – вино, коньяк.

«Давление, а все пьет, – думал я, глядя, как Андрей Дмитриевич разливает спиртное, – Неужели не понимает, что губит себя окончательно, даже простому смертному это ясно, не только писателю».

В Челябинске было сорок прозаиков и поэтов – не пьющего я не знал; причем сильно пьющих из них насчитывалось куда больше, чем из того же числа рабочих или колхозников. В Донбассе – пятьдесят писателей, сорок два в Донецке и восемь в Луганске, – сильно пьющих из них больше даже, чем в Челябинске. Утром я приходил в Донецке в Дом писателей, мы играли в бильярд, а потом стайка из десяти-двенадцати человек, как-то не сговариваясь, направлялась в погребок, где продавалось дешевое вино. Денег у многих не было, собирали рублики, и каждый старался выпить свой заветный стакан... «Для поправки головы». Меня, как человека, получающего регулярно зарплату, да еще имеющего небольшие гонорары, стремились затянуть непременно и выкачать трешку-другую в общий котел.

«Миротворец» Брежнев прозорливо угадывал все возрастающую потребность в алкоголе, – из года в год наращивал производство спиртного, закупал за границей гигантские линии по изготовлению алкогольного питания. И за двадцать лет своего правления увеличил в стране производство спиртного на семьсот процентов.

С академиком Угловым на основе официальной статистики мы написали обращение к нашему народу:

«В 1990 году в школы пойдет миллион шестьсот тысяч умственноотсталых детей. И это при наличии самого большого количества врачей и ученых в мире!

Ежегодно в нашей стране прибавляется 550 тысяч новых алкоголиков – и это только те, кто берется на учет. В вытрезвители попадают в год восемь миллионов человек. Каждый третий умерший – жертва алкоголя, – это почти миллион людей ежегодно! В какую же пропасть нам отступать дальше?!»

Как-то по телевидению выступал генерал милиции, он привел новые цифры: «В 1990 году по вине пьяных водителей искалечено 73 тысячи человек и 13 тысяч убито». Вот она, конкретная жертва тех, кто в 1988-м пошел на свертывание начавшейся было в нашей стране всенародной борьбы за трезвость. Суд над этими людьми впереди, – и это будет самый страшный суд, суд истории.

Раньше мы искренне и простодушно полагали, что без вина нет встречи друзей, – не выставь на стол спиртного, и ты прослывешь жадным, мелочным, не способным уважить друга. И лишь немногие мудрецы способны были и в то время понимать ложность этих моральных ценностей, пагубность утверждавшихся всюду нравов винопития.

Наш знаменитый хирург-онколог академик Николай Николаевич Петров, когда ему во время застолья сказали: «Выпейте за наше здоровье», – ответил: «Зачем же за ваше здоровье я буду отравлять свое здоровье».

Мы, к сожалению, таких примеров не знали.

Андрей Дмитриевич Блинов, которого я считал – считаю и теперь культурнейшим человеком и большим русским писателем, и совсем, по-моему, не задумывался над этими проблемами. Он даже не знал, не верил, что при его гипертонической болезни алкоголь не только вреден, но и опасен.

Впрочем, пил он немного, и я никогда вне дома не видел его даже слегка выпившим.

Показал мне свою излюбленную комнату. Она находилась на первом этаже в углу дома. Из двух ее окон открывались чудесные абрамцевские виды.

– Вот те пригорки, – показал мне Андрей Дмитриевич, – и тот дальний лес любил во все времена года наблюдать наш замечательный художник Александр Герасимов; там, неподалеку, жил и величайший математик академик Иван Иванович Виноградов.

И еще сказал:

– Понимаю Молотова, – он тоже обосновался в этой комнате и жил здесь несколько лет.

– А у него, что ж, не было своей дачи?

– Видимо, не было. А государственную отняли одновременно с партийным билетом.

– Куда же он потом выехал?

– Не знаю. Говорят, по вечерам он гуляет по Тверскому бульвару. Ты там учился в институте, может, видел его.

– Да, мы однажды шли с одним профессором по Тверскому бульвару и увидели его. Прибавили шаг, нагнали. Профессор с ним заговорил: «Как здоровье, Вячеслав Михайлович?» – «Ничего, сносно». – «Говорят, что палачи живут долго». Молотов повернулся к нему, жестко заговорил: «Я, молодой человек, палачом не был, однако жизнь люблю и хотел бы жить долго». – «Палачом не были, но руки ваши по локоть в крови. А русский народ пока этого не знает, но когда мы, историки, откроем глаза...» Молотов прибавил шагу и быстро от нас оторвался. Я тогда сказал профессору: «Не очень это вежливо с нашей стороны». На что он мне ответил: «Вы, дорогой, мало информированы, но когда узнаете... Жалость и у вас поубудет».

Андрей Дмитриевич затем проводил меня на станцию. Поздно вечером я приехал домой. При лунном свете смотрел на свой осиротевший великолепный финский письменный стол, – являлось желание все бросить, вновь сесть в это кресло, и – писать, писать. Но тут же приходила мысль о бегстве с поля боя. Блинову тоже трудно, ему

и вовсе служба может сократить жизнь, – он обеспечен, у него много вышло книг, – но ему и на миг не является мысль о бегстве. Нет, нет, об отступлении не может быть и речи. Призывай на помощь весь опыт жизни, всю волю, борись, но борись спокойно и с достоинством, как боролись на фронте. Там ведь не было истерики, не было, конечно, и мыслей о бегстве. О минутных своих слабостях забудь!

Не видел, не понимал я в то время, что многие наши слабости, – и болезнь Блинова, и податливость Свиридова перед лицом сильных мира, и утрата бойцовских качеств Сорокиным, Фирсовым, Акуловым, и бледность стиля в письме, вялость сюжетов. рыхлость композиции – многое, многое из того, что вчера еще светилось блеском и талантом, радовало, поражало воображение, нынче тускнело, слабело, вызывало досаду и недоумение, и причиной тому – алкоголь.

Тихое, культурненькое винопитие, – частое, непрерывное, почти ежедневное, – незаметно притормаживало все дела, гасило энергию, иссушало ум и душу.

Зеленый змий крепко обхватывал нас, душил все сильнее, но в ушах лишь стоял сладкий шум, и мы не замечали объятий врага.

Немногим больше года работал Блинов в «Современнике», затем как-то тихо, незаметно удалился от дел. Жил на даче, и о нем скоро забыли. Он выпустил роман «Полынья», однако даже нам, близким друзьям его, он не принес радости. В нем не было ни былого блиновского блеска стиля, не было больших ярких мыслей, сильных, красивых характеров.

Слабел Блинов-работник, тускнел и его талант. А лет ему не было и шестидесяти. Алкоголь незаметно подточил силы. но никто, даже близкие люди, этого не заметили.

Знают силу спиртного лишь наши враги, недаром это зелье они избрали своим главным оружием.

Алкоголь быстрее всего выветривает бойцовские качества человека. Подобно тому, как вода гасит пламя, так спиртные возлияния, действуя прежде всего на мозг и центральную нервную систему, угнетают волю, решимость и смелость. Человек, из года в год потребляющий даже малые дозы алкоголя, незаметно для самого себя размягчается, обретает черты робости и смирения, – он становится обывателем, а впоследствии даже и трусом. Я такое наблюдал у многих журналистов и писателей. Расскажу подробнее о Фирсове. Мы много лет с ним бок о бок шли по жизни, трудную писательскую судьбу начали с Литературного института, – прошли и сквозь огонь левацкой критики. клеветы и травли; видел его и на белом коне, гарцующим перед ратью противника, бросающим в лицо сильным мира полные святого гнева слова:

В цене предатели народа, –  
Что говорить, в большой цене!

И потом, много лет спустя, он хлопотал насчет просторных столичных квартир – и получал их, насчет лауреатских медалей – тоже получал, насчет должностей – и тут не остался обделенным.

Пил он всегда много, лихо, – прятался от недобрых глаз, но пил. С присущим ему талантом живописать словом одаривал литературную богему крылатыми выражениями: не выпил, а «всосал», «пьет под одеялом», «ушел в шерсть», «получил на лапу» и т. д.

Много он хороших стихов написал, – не зря любил его Шолохов! – много книг издал, – и слава Богу! – мы ждали от него новых и новых...

Книги выходили, толстые, в роскошном оформлении. Но рифма в стихах слабела, и образ тускнел. Что же до борьбы... Клинок его притуплялся, не летели искры из строк. Тише, тише... Так-то оно спокойнее. И врагов поменьше, – авось, не так нападать будут, и книгам новым не помешают. Куда как хорошо – если книги выходят!

Но пойдём по порядку.

Я особенно часто встречался с братьями-писателями, когда на год, на два отходил от службы и отдавался свободному литературному труду.

После обеда, ближе к вечеру, отправлялся к друзьям. По дороге к Шевцову или Кобзеву заходил к Фирсову.

У крыльца дома. на лавочке, сидел дядя Ваня – брат отца Фирсова, русский крестьянин, приехавший на старости в гости к именитому племяннику. Я любил его общество и не упускал случая побеседовать.

Присел рядом, показал на недавно построенную в глубине усадьбы времянку – там находился кабинет поэта; оттуда доносился громкий разговор, из приоткрытой двери шел табачный дым.

– О чем они там? – спросил дядю Ваню.

– А-а, – махнул он рукой, – О них все толкуют... Ну, как их? Синасти.

– Что это, дядя Ваня?

– Ну, эти... как они... синасти?

И, уже подходя к двери, я вдруг понял: «Сионисты!»

Рассказал Фирсову, Шевцову, Чалмаеву, – они были тут же, – и долго, и громко смеялись. С тех пор надолго в лексикон нашей писательской колонии вошло это перевернутое слово: «синасти».

Едва я вошел во времянку, хозяин схватил со стола свежий номер «Известий», швырнул на пол:

– На! Читай свою газету! Кого печатают? Кого хвалят? Сионисты проклятые.

В этот момент по радио назвали Хемингуэя. Фирсов выдернул шнур.

– Вот еще... Хороший человек, «Старик и море» написал. Но пощадили бы мои уши – с утра до вечера талдычат: Хемингуэй, Ремарк... Если о своих доморожденных поднимут гвалт – Евтух, Робот Рождественский да Майя Плисецкая. О надоях молока заговорят, и тут Плисецкую приплетут. А уж если об ученых, о великих мудрецах загалдят – Эйнштейна не забудут!.. Ты, Иван, в «Известиях» работал, скажи на милость: что это за дьявольский механизм там такой наладили, что русского духа они не терпят?..

Плюхнулся на диван, заломил руки за голову, смотрел в потолок. Его святой гнев мы понимали. Тут среди гостей Фирсова не было человека, который бы на собственной шкуре не испытал засилья в газетах и журналах людей, симпатизирующих сионистам; влияние таких людей к тому времени, на рубеже 60 – 70-х годов, становилось не только ощутимым, но уже принимало повсеместный удручающий характер. И если раньше мы не имели серьезных печатных трудов, разоблачающих сионизм, то тогда уже у каждого из нас на столе лежала книга Юрия Иванова «Осторожно, сионизм» – книга, произведшая в умах русской интеллигенции эффект разорвавшейся бомбы. Правда, Юрий Иванов исследовал сионистское движение как явление планетарное, – эта расистская идеология будто бы была где-то, не у нас, но каждый, читавший книгу, невольно и как бы автоматически проецировал события и сведения, в ней содержащиеся, на нашу жизнь, – слишком знакомы были каждому из нас взгляды, действия, образ поведения заокеанских и всех прочих господ, претендующих на мировое владычество.

Это было время, характерное для всего послесталинского периода: за вольные разговоры не сажали, за «нелюбовь к евреям» не расстреливали, но говорить громко обо всем этом люди еще опасались. Зато же и давали волю языкам в кружках дружеских. подобных нашему. Но, конечно, было много людей, которые возмущались этой книгой.

Помню, как приняли книгу «Осторожно, сионизм!» у нас в редакции «Известий». Думали-гадали: «Как появилась книга?.. Кто разрешил?» Высказывались догадки: «Суслов дал команду!». «В ЦК так решили! Рыжих ищут».

Я в одном кружке бухнул сдуру:

– Видно, близко подобрался к Кремлю. За глотку схватили.

– Кто? – повернулись ко мне.

– Да кто? Они же... сионисты!

Глаза у моих собеседников потемнели, губы плотно сжались.

– Где ты их нашел... сионистов? При чем тут Кремль?

– И там, наверное, есть! Пишет же Иванов!.. – продолжал я бухать невпопад.

Кружок возле меня сузился, из глаз летели искры.

– Ты что – серьезно говоришь? Да какие сионисты у нас, в нашей стране? Где ты их видел? Может, еще и среди нас поищешь? Ты, Иван, думай, прежде чем такими словами бросаться. Этак ты нам тридцать седьмой год устроишь!

Я махнул рукой и вышел из комнаты. Знал, что каждый из моих собеседников был ярим сионистом, да поди вот, скажи кому-нибудь.

В «Правде» прочитал заметку «Федерация сионистов». ТАСС сообщал: «Легализация сионистского движения в Советском Союзе, пропаганда идеологии сионизма – в числе главных целей будущей сионистской федерации СССР, учредительный съезд которой второй день работает в Москве. В нем принимают участие представители более ста организаций из 50 городов страны, а также посланцы Израиля. Главным инициатором созыва съезда является сионистская организация «Иргун циони».

Не было, не было – и вдруг объявились. Словно с неба посыпались, с летающих тарелок.

Впрочем, мои коллеги-известинцы на съезд не пойдут. Они – коммунисты! И Иван Лаптев – их недавний главный редактор, – он ныне за красным столом в Верховном Совете сидит, – он, конечно же. тоже коммунист. И пока еще партийный билет носит, – в демократы вслед за Ельциным не побежал. Впрочем, говорят, и Лаптев, и Яковлев, и Примаков, – и многие другие коммунисты, – демократов Ельцина, Собчака. Попова и нашу питерскую «французенку» Салье очень уважают. Что же до Лаптева Ивана Дмитриевича, то он, говорят, в редакции аджубеевских «пенцов» всячески старался в «орлов» превратить. Анатолия Друзенко, к примеру, своим заместителем сделал.

Ну, что ж, дело естественное: всем надо расти, и Друзенко – тоже. И самому Лаптеву... Не век же ему сидеть в кресле главного редактора «Известий»!

Но вернемся в Семхоз.

Можно понять горячность, с которой витийствовал Фирсов: он хотя только начинал свой путь в поэзии, но уже был изрядно искусан критиками. Он бы мог о своих критиках сказать словами Чехова: критика меня мало интересует, она у нас ненациональна.

Придет время, и оно теперь недалеко, когда эта самая «ненациональная» критика примется и меня утюжить; я бы тоже мог повторить слова Чехова, но могу свидетельствовать: от ударов и укусов этой самой «ненациональной» критики бока так же долго болят, как от всякой другой.

Били его и свои, – те, кто охотно подпевал «неистовым ревнителям». выслуживался перед властью имущими и тем обеспечивал себе право печатать статьи, книги...

Союз «швондеров и шариковых» набирал силу. Недаром его больше всего боялся Михаил Булгаков. В 80-х он примет форму мафии и тугой петлей затянет всю русскую национально-патриотическую литературу.

Да, господа шариковы, обнявшись со швондерами, получая от них щедрые подачки, оказались сущей бедой для русской литературы в канун третьего тысячелетия. Ныне всякая попытка литератора сказать доброе слово о России, русском характере, – даже само слово «русский» воспринимается как опасная форма национализма, шовинизма, – и слово «русский» многими понимается как синоним «антисемита».

В кабинете Фирсова в тот раз собрались близкие товарищи, и не было среди них «небитого», не искусанного «ненациональной», а сказать точнее, космополитической, еврейской критикой. «Литературную газету» в то время возглавлял Чаковский, «Литературную Россию» – беспринципный Вася Позднеев, в «Известиях», как я уже писал, весь отдел литературы и искусства состоял из евреев... Начиналась хорошо спланированная, глубоко эшелонированная травля русских писателей – изгнание из всех сфер искусства русского духа.

И первые удары из крупной артиллерии – со страниц центральных газет – уже были нанесены по Шевцову (десять разгромных статей в течение месяца), по Кобзеву и Фирсову. Притулившийся тут же в кресле у камина критик Виктор Чалмаев напечатал две-три статьи в защиту патриотического духа, – он как раз в эти дни подвергался за них дружному остракизму. Его и критика Михаила Лобанова, напечатавшего в «Молодой гвардии» статью «Просвещенное мещанство», предавали анафеме даже радиоголоса из-за кордона.

Я и сам, не спросясь броду, сунулся в эту воду, – написал две статьи на литературные темы: одну «Закат бездуховного слова» напечатал в «Журналисте», другую, о журнале «Юность» – «С самой пристрастной любовью» – в «Огоньке».

Отступая, мы огрызались, отстреливались, иногда наносили сильные удары, но... отступали. Однако силы были неравны. Родная партия, членами которой мы состояли, отдавала самое грозное оружие – печать в руки противника, множила тиражи газет и журналов.

С русским народом, с нашим государством проводился гигантский эксперимент, автором которого были Маркс, Энгельс, Ленин. Из сознания и души народа изгонялись память и национальный дух. Вот и трещали кости у молодых, неопытных людей, вознамерившихся заявить о праве русского быть русским, пропеть песню о любви к Отечеству.

Мы, тогда еще молодые, не могли знать всех сокровенных и тайных замыслов творцов эксперимента, отцов русской революции, – не могли, конечно, и мысли такой допустить, что терроризм, начатый опричниками большевизма еще в первые годы жизни социалистического государства, хотя и в других, менее зверских формах, но продолжался.

Еще в институте я случайно от доверявшего мне профессора узнал один трагический эпизод нашей истории: в 1919 году Сталин, по заданию Ленина, приехал в Петроград, и здесь они вместе с Зиновьевым приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся согласно приказу.

Позже, один за другим, были извлечены из архивов ленинские письма, приказы, директивы... Расстрел, расстрел... И стрелять как можно больше.

Народному комиссару юстиции Курскому Ленин пишет:

«Т. Курский! По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)... ко всем видам деятельности меньшевиков, с-р и т. п.; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией и ее борьбой с нами...»

В другом письме «вождь мировой революции» формулирует свои принципиальные установки на террор:

«Т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса... Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка: открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор: обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только

революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом Ленин».

Могут сказать: но какая связь между пьянством писателей и письмами Ленина об узаконении террора?

Связь тут самая прямая: как Сталин и Зиновьев расстреляли в Петрограде всех русских офицеров, поверивших Советской власти и явившихся зарегистрироваться, как затем легионы Дзержинского, Пятакова, Ягоды, Берии принялись отстреливать русских ученых, бывших дворян и помещиков, священников, – а далее и крестьян, рабочих, ремесленников и, конечно же, писателей, композиторов, художников, – так впоследствии, уже в наше время, – и уже другие палачи и наследники отцов революции, – с той же яростью продолжали теснить, душить и давить русскую интеллигенцию, и прежде всего, национальных, патриотически настроенных писателей очередного поколения, – людей, подобных тем, кто в описанном нами эпизоде собрались на даче Фирсова.

Их не стреляли, – к ним применялись другие средства террора, – средства, подавляющие дух и психику: травля в печати, клевета, замалчивание, навешивание ярлыков.

Излюбленный сын новой системы и всех наших правителей после Сталина, Евгений Евтушенко, он же Гангнус, в статьях, стихах, а так же изустно, выдал нам, русским литераторам, такие аттестации: «шовинист... антисемит... стало... козлы... навоз... труп... евнух... питекантроп... предатель... убийца... палач...»

Собрал и обобщил этот лексикон Владимир Бушин. Читал я его заметки по поводу статьи Евтушенко «Фехтование с навозной кучей» и невольно вспоминал ту дружескую беседу во времянке Фирсова. В то время нас с подобными откровениями никто бы не напечатал, теперь «Советская Россия» отважилась, – и за то спасибо эпохе перестройки! В те далекие шестидесятые годы Евтушенко поднимали выше Пушкина, в наши, перестроечные, критик-публицист приподнимает крышку кастрюли, в которой вот уже семьдесят с лишним лет варится гнусная клевета на русских писателей, – даже на такого гиганта, как Шолохов! Но послушаем монолог, обращенный Бушиным к Евтушенко:

И вы в своей «Навозной куче» создали образ не великого писателя, а свой собственный. Вы нарядили своего Шолохова во все заграничное, шведское, «яркого, современного дизайна», – он полжизни проходил в гимнастерке, а вы всю жизнь, как Петрушка, пляшите на себя этот самый заморский дизайн. Ваш Шолохов брехлив и безответственен, – это вы, а не Шолохов. Ваш Шолохов источает «провинциальное чванство», – помилуйте, присмотритесь к себе. Ваш Шолохов нахваливает вас: «Мой любимый поэт... Ты у нас талантище», это вы, Гога, так о себе думаете и говорите, а не он о вас». И так далее, в этом роде.

Повторю еще раз: так «развенчивают» и носят Шолохова! Но разве не с той же глумливой яростью и подлостью разносили нас возлюбленные детки новой системы, едва мы успевали поднять голову?

Спросить бы тех русских офицеров, которых вели на расстрел Григорий Евсеевич Зиновьев и Иосиф Виссарионович Джугашвили: что для них лучше – всю жизнь клевета на них, попрание чести, унижение имени или – расстрел? Наверное, они выбрали бы второе.

Наблюдая своих друзей, деля с ними общую судьбу русского литератора эпохи развитого социализма, заметил я одну примечательную особенность: ничто не могло вышибить русского писателя из седла, никакая сила не могла выветрить из него благородных свойств русского характера, кроме одной дьявольской силы – алкоголя.

Алкоголь начисто вымывал из человека все: и телесное здоровье, и талант, и все самые лучшие, прекрасные свойства души.

Владимир Фирсов на глазах у нас менялся как поэт, как товарищ, как человек.

Лет через десять после окончания института вдруг стал замечать перемену в его характере: в нем появилось свойство, которого раньше не было и в помине: он стал заискивать перед сильными мира, сановными людьми. В глазах у него поселялась тревога за завтрашний день. Он нигде не служил, – еще в институте вкусил литературной бесшабашной вольницы; усвоил широкие, театральные манеры, образную, хлесткую речь. Почти каждодневные, горячительные возлияния, – до службы ли тут? И жена, Людмила, не работала, и квартиру обставлять мебелью надо, и дачу обустроить... Дети, один за другим, пошли. Все, как у Пушкина. Вот только дворянского звания не было, села Михайловского в наследство, крепостных родители не оставили, да и стихи издатели из рук не рвали, за строку, как Пушкину, рубль золотом не платили. А тут еще критики издевались, каждую тощую книжонку, выходящую с интервалами в два-три года, рвали на части, высмеивали, отказывали в таланте, – даже в способности писать стихи, – словом, жил по Маяковскому: «Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом...» А тут еще под ложечкой сосало, – все глубже укоренялась потребность в спиртном, страсть к выпивкам становилась второй натурой.

Стихи еще писались. Писал их ночью, в тиши своей времянки, но... писались. Надо было их печатать, – устраивать в журналы, в издательства.

Ловкие евтушенки, вознесенские, – те шастали по кабинетам властителей. Восходили, как звезды первой величины на поэтическом небосклоне, их включали в комиссии и советы, в редколлегии и секретариаты...

В литературном мире громадная сеть разных управляющих, руководящих структур, – проникнуть хотя бы в одну клетку, вскарабкаться на Олимп, – но нет, туда берут все тех же.

Вот Никита Хрущев встречается с деятелями литературы. Фирсова не зовут! Не вспомнили, не заметили!

Не позвали туда и Володю Котова, и Алексея Маркова, и Игоря Кобзева... Даже Васю Федорова – и то, кажется, не позвали. А уж поэты – перворазрядные!

О братьях радонежских – говорить нечего. Ни Шевцова, ни Поделкова, ни Чалмаева... Будто и нет нас в природе! По этому случаю – выпивка. От досады и от обиды. Кто что сказал на встрече с Хрущевым – об этом говорят в ресторане Дома литераторов, за каждым столом. Отдельные места из речей воспроизводят дословно.

Воображение многих поразило Евтушенко – поэт новой формации. В дружеском кругу несет всех святых – особенно партию, правителей. А там...

«Товарищи! Когда-то Маяковский, выдающийся поэт нашей революции, четко определил задачу социалистического искусства: «И песня, и стих – это бомба и знамя...» Мы никогда не должны забывать эти слова...

Меня глубоко тронули, заставили задуматься слова Никиты Сергеевича о том, что у нас не может быть мирного сосуществования в области идеологии. Это действительно правда, потому что вся наша жизнь – борьба, и если мы забудем, что должны бороться неустанно, каждодневно за окончательную победу идей ленинизма, выстрадавших нашим народом, – мы совершим предательство по отношению к народу».

Фирсов знал Евтушенко, его подлинные взгляды, настроения. Владимир никогда бы не опустился до такой степени глумления над собственной сутью, – однако жизнь подавала примеры, время рождало героев.

Одного за другим отсекал Владимир товарищей юности, – что в них проку! У него на даче я и познакомился с Есиловым Николаем Хрисанфовичем. Высокий, грузный... Всегда улыбался. Смотрел на нас, как на ребят из детсада. Ему в то время было лет шестьдесят. Очень умный, опытный и принципиальный издатель. Я бы назвал его современным Сытиным.

В то время я не печатался, нигде не работал, – друзей у меня становилось меньше. Перестал заходить и Фирсов.

Сказал об этом одному из товарищей. Он долго и загадочно улыбался, потом рассказал: был у него друг, редактор журнала, – к нему ходил Фирсов почти ежедневно, а заместителя его не замечал. Но вот Володя узнает, что редактора снимают, а на его место ставят заместителя. И в тот же день Владимир трусцой бежит мимо кабинета крамольного главного, ныряет в кабинет зама.

– Так-то, друг мой. Учись! – закончил свой рассказ приятель.

С тех пор и я перестал заходить к Фирсовым.

Так уж, видимо, устроена жизнь: по Некрасову, «одни оставили меня, перед другими сам закрыл я дверь».

Выходки Фирсова продолжали неприятно поражать его друзей.

Однажды мне рассказал Шевцов, как он побывал в кабинете Фирсова. – Володю, наконец, пустили на Олимп, его назначили главным редактором советско-болгарского журнала «Дружба».

Пришел в кабинет, а хозяина нет. Ну, Шевцов садится в его кресло, ждет. Но вот заходит Фирсов – встревожился, засуетился. Обращается к Шевцову:

– Ты, Михалыч, пойдешь в буфет, подожди там меня, а то сейчас сюда войдет мой шеф... Я бы не хотел...

– Понимаю! – сказал Шевцов, вставая. – Я удаляюсь, не беспокойся.

В то время Шевцова едва ли не все наши центральные газеты громили за роман «Тля». Критики негодовали, узрев там «антисемитские» мотивы. Имя Шевцова предавалось анафеме. А шеф Фирсова зело как благоволил к евреям.

Шевцов рассказывал этот эпизод без злости и обиды на Фирсова, мне же он прибавлял горечи и досады за тех, кого я еще недавно считал в своих друзьях.

Иван Михайлович, будучи в свое время заместителем главного редактора журнала «Москва», напечатал первые стихи Фирсова и тем растворил перед ним дверь в литературу. Фирсов, выдворяя его из кабинета, очевидно, не вспомнил этот эпизод своей биографии.

Ища дружбы у больших людей, человек легко поддается обольщению величия: ему со временем и самому кажется, что он большой, свет величия застилает глаза, и он в ослеплении перестает замечать прежних друзей. Те пребывают в тени, и оттого их силуэты сливаются в сплошную серую массу. А то, что, как сказал Чехов, «talанты сидят в потемках», не всеми признается за норму и разумность поведения.

Раздались первые залпы по моему роману «Подземный меридиан», – одна статья в «Литературке», вторая. И критик записной, маститый – Феликс Кузнецов. Потом и сам А. Н. Яковлев, будущий творец развала и перестройки, не преминет бросить в мой огород устрашающее предостережение: дескать, рабочих и интеллигенцию ссорить, государство ведешь к поруганию...

То была команда: закрыть, не печатать, морить голодом...



Жутковато было смотреть на нас с Шевцовым таким, как Фирсов. Вдруг как и его постигнет такая участь? Жена, дети, дача, квартира, – жизнь только начинается. А ну как вот так же... раздастся окрик с самого верха?

Ко всем страхам у таких, как Фирсов, прибавляется страх непереносимый – остаться без водки. К тому времени он незаметно для себя соскользнул со ступени, где обретаются тихие бытовые пьяницы, в разряд более высокий – в гильдию алкоголиков. Водка для него стала первой необходимостью. Он, как наркоман, дрожит и закипает нестерпимым зудом, едва хмель в нем утихомирится. Свет перед ним гаснет, он ничего не видит, – одно только жаждут все клетки воспаленного организма: водки! И какая уж тут поэзия! Какая борьба! Не иссякли бы ручейки, по которым текут и текут денежки, а вместе с ними – желанная, утоляющая жажду влага.

Впрочем, с виду все благополучно. Фирсов пьет дома, почти «под одеялом», как он сам выражается, «всасывает» тайно, а что до «навара», – он его получает законно. Зарплата у редактора немалая, да и книги теперь выходят не те уж тощие сборнички, похожие на брошюры, – теперь на прилавках магазинов лежат тома Владимира Фирсова – поэта-лауреата, любимца Шолохова. А если вы зайдете в издательство «Молодая гвардия», – там в коридоре на стене большой портрет Фирсова, – его, будто бы, любит и молодежь.

Тома есть, в дорогах обложках, и портреты есть, и Шолохов ему признается в любви, – тоже верно. Вот что-то последний томик стихов долго лежит на полке магазина... Я купил, другие не торопятся.

Не потому ли. что стихи последних лет несут ту же робость, тот же страх и ту же плебейскую покорность перед роком судьбы и сильными мира сего?

Стихи поэта – зеркало его души. Вчитайтесь в них, и перед вами, как на ладони, – весь автор, без остатка. По творениям можно узнать о Творце, – говорит Книга мудрости.

Я наблюдал Фирсова долго – видел его полугодным студентом. видел и в годы его успеха важно восседающим в кабине белой личной «Волги». Жена его, Людмила, за рулем, он – в созерцательном мечтании откинулся на спинку сиденья, думал... Очевидно, искал рифму.

Меня заметили. Остановились.

– Как живешь, Иван?

– А ничего. Вот, в Москве набрал продуктов. У меня тоже транспорт.

Показываю на дорожную сумку, – она на двух колесиках и катится за мной сзади.

Володя со снисходительной улыбкой окинул взглядом мою поклажу. Наверное, подумал: «Докатился». Он умеет – посмотреть значительно, как артист. Во взгляде его – точная мера почтения или презрения, – в зависимости от значения субъекта.

Впрочем, в глазах и Людмилы, и Владимира было не одно лишь сочувствие, в них милостиво светились остатки былой дружеской теплоты.

Но как знать: может быть, мне так показалось. Они остановились лишь на минуту, – мог и не разглядеть.

Люди искусства умеют глубоко и тонко чувствовать, но они могут и скрывать свои чувства. Одно мне было ясно: Володя взлетел на Олимп, – он уже теперь не скажет: «Поэтам деньги не даются». И о нем уже не скажешь: «Он в оппозиции к партии и правительству, его теснят, не лают хода...» Нет, не скажешь. Он, хотя и имеет рекламные, о нем не талдычат радио, но блокаду экономическую он прорвал, он принят, обласкан, – его, как он любил выражаться, «допустили к корыту». И хорошо, и слава Богу! Не всем же русским писателям сидеть на голодном пайке, перебиваться с хлеба на квас. Человек он талантливый, – вон какие стихи написал раньше! Теперь-то, правда, жар поэзии у него не тот, но, даст Бог, выправится, снова, как в юности, запишет стихи огневые, искромлетные.

А реклама... Она у нас в чужих руках, надо угодить чужебесам. припустить в строчки что-нибудь этакое сатанинское. Вот Юрий Кузнецов... Природа и ему талант отвесила, – вон какие смолоду стихи писал. Теперь, правда, разное пишет, – иногда такое выдаст, что и не знаешь, какая сила рукой его водила. А все потому, наверное, что понял: популярности, хотя и дешевой, комфорта, гонораров, тиражей не добьешься, если не пойдешь путем Евтушенко, который народ, взрастивший его, назвал «детьми Шарикова», обозвал «рылами», «самодовольнейшей грязью»... Страну, в земле которой покоятся его предки, – «отечественным болотом», а патриотов Родины смешал с «вандейским навозом». Кто сказал, что поэт должен любить свою Родину и народ? Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Есенин – да, любили. Но не евтушенки! Вон как выдал своему народу! «О наши русские коалы! На всех идеях и делах, эпохи носом подпевалы, вы дремлете, как на стволах». Поэзия, конечно, не ахти какая, – зато какая дерзость! И как же мир ему рукоплещет! – вернее, недруги России. Куда ни поедет, везде они есть, русофобы. На руках носят смелого поэта! О гонорарах и говорить не приходится. Дождем сыплются, – и не рубли деревянные, а валюта конвертируемая.

И Юрий Кузнецов тоже туда же – за мировой славой. Вон как о самом святом пишет: «Отец, – кричу, ты не принес нам счастья!.. Я пью из черепа отца...». А вот о женщине:

«Жил я один. Ты сказала: – Я тоже одна,  
Буду до гроба тебе, как собака, верна...  
Так в твою пасть был я брошен судьбой на пути.

Грызла меня, словно царскую кость во плоти.

Страстно стонала, хотя и другие порой  
Кость вырывали у пасти твоей роковой,  
С воплем бросалась на них ты, страшной сатаны.  
Полно, родная! Они, как и ты, голодны...»

Даже спяну так не напишешь...

Читаю я все это и думаю: как же все переменялось в нашей жизни и в наших взглядах на мир. Прежде о женщине писали: «...Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...»

А, может, это мой ум так безнадежно отстал, что не в силах понять простых вещей?

«Кость вырывали у пасти твоей роковой...»

Вот она, поэзия наших дней, а ты застрял на понятиях столетней давности и ворчишь попусту...

Думаю я также о поэтах, которых я знал, которые много пили, со временем хуже и хуже писали...

Ну, нет, – слава Богу, Владимир Фирсов так о женщине не писал, и о Родине, и об отце... Нет, конечно. Из русских поэтов? За мировой славой, за тиражами ползешь в болото... Нет, другого, кроме Кузнецова, никого не припомню. Пригасить наступательный жар – иное дело, поубавить прыть, вытравить бойцовский дух... Преклонить со временем колени, принять позу, – таких немало, а чтоб так, в открытую, на святая святых... Это уж, вроде бы, предательство. На такое и страсть к наживе, и жажда славы не подвигнут. Перо выброшу вон, а святых пинать не стану. Не жди, Бурлацкий, и вся «Литературка», – не дождетесь!

Наверное, так думают и Сорокин, и Фирсов, сильно поувядшие как поэты, но не желающие бежать вслед за Евшушкой на Олимп мировой славы. Я же думаю о другом: какая сила побуждает человека сломя голову ринуться в такой глубокий колодезь, или, говоря словами автора «Молодой гвардии», пишущего о Кузнецове, продемонстрировать «душевную анемию... полную несурзацу, доходящую до насмешки над языком...»

Журнал «Молодая гвардия» удивляется: «До подобных экспериментов... не "доискались" даже наши молодые абсурдисты и метафористы».

И как тут снова и снова не вспомнить страшные предостережения академика Углова, многие десятилетия изучающего влияние алкоголя на организм человека:

«Наш мозг – это наше богатство и неповторимость. Наверное поэтому алкоголь приносит ему самое сильное разрушение, несет для него главную опасность. Исследования мозга у погибшего от острого алкогольного отравления показывают, что в его нервных клетках наступили изменения в протоплазме и в ядре, выраженные столь же резко, как и при отравлении другими сильными ядами... У лиц, употребляющих спиртные напитки, выявляются ранние склеивания эритроцитов – красных кровяных шариков. Если подобная картина имеет место в каких-то грубых тканях, например, в мышцах, то это может пройти незаметно. Но в мозге, где склеивание сильнее, так как там концентрация алкоголя выше, оно может привести, и, как правило, приводит, к тяжелым последствиям: в мельчайших капиллярах, подводящих кровь к отдельным мозговым клеткам, диаметр сосуда приближается к диаметру эритроцита. И при склеивании эритроциты закрывают просветы капилляров. Снабжение мозговой клетки кислородом прекращается. Такое кислородное голодание, если оно продолжается 5 – 10 минут, приводит к омертвлению, то есть необратимой утрате мозговой клетки...»

Вскрытия "умеренно" пьющих людей показали, что в их мозге обнаруживаются целые "кладбища" из погибших корковых клеток... Изменения... возникают уже после нескольких лет употребления алкоголя. Обследования двадцати пьющих людей показали уменьшение у них объема мозга, или, как говорят, "сморщенный мозг"».

Не эту ли роковую силу алкоголя подметил гениальный Есенин? Всего лишь несколько лет он пил, а и то «в полный рост» увидел беду от вина и водки:

Годы молодые с забубенной славой,  
Отравил я сам вас горькою отравой.  
Я не знаю, мой конец близок ли, далек ли,  
Были синие глаза, да теперь поблекли.  
Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.  
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Итак – «сморщенный мозг». Не тут ли происходит разгадка, почему наше время не может дать миру ни Пушкина, ни Чайковского, нет у нас Суворова и Столыпина, Репина и Менделеева?

Я был знаком и наблюдал в жизни двух великих людей, – таковыми их числят не у нас, но во многих странах мира, – это курганский хлебороб Терентий Семенович Мальцев и дирижер Константин Иванов. Оба они не пили, Мальцев никогда не пил ни грамма, Иванов – если и пил, то символически, отпивал из рюмки глоток вина.

Ломоносов, Суворов, Менделеев, может быть, пили чуть больше, но пили редко, слабое вино, и отпивали глоток-другой.

В нашем столетии пошла в дело водка. И пить стали чаще, и помногу...

Разумеется, пили те, кому водка была доступнее. Как я уже говорил, в войну мы, младшие офицеры и солдаты, почти не пили – негде было взять ни вина, ни водки. А чем офицеры старше, и чем большую должность они занимали, тем и пили чаще. Их угощали. Помню, как я, двадцатилетний командир батареи, приказывал старшине иметь бутылку-другую самогона «на случай, если кто придет». А эти «кто» были: от командира дивизиона и выше. А если уж генерал какой нагрывает, и обедать останется, как же не подашь ему самогона?

Водки и вина у нас не было. У местных жителей доставали самогон.

Помню, как однажды мне сказали: батарею посетит поэт Алексей Сурков – автор знаменитой «Землянки». У нас дух захватило от волнения. Никогда я не видел поэта, а тут собственной персоной! И, конечно же, не один, а и командир дивизиона будет с ним, и командир полка, а может, и генерал!..

Из офицерского пайка выделил я мыло, масло, сахар, – выменяли три литра самогона.

Сурков не приехал, а самогон долго не залежался: в штабе дивизиона прослышали о нем, налетели стай – выпили.

Представляю же, как встречали поэтов и писателей, – Шолохова, например, – в разных высших штабах, во фронтовых войсках и всюду, где он только появлялся.

О Шолохове я уже тогда, на фронте, слышал: пьет наш великий писатель, ох, как пьет!

И потом, после войны, работая в Москве, в газете военных летчиков «Сталинский сокол», получил задание от редактора Сергея Семеновича Устинова: пойти в гостиницу «Москва», разыскать Шолохова – он там остановился – и попросить его, чтобы он написал новогоднее приветствие летчикам.

Приближался Новый год – то ли 1949, то ли 1950.

Пришел в гостиницу, но меня к Шолохову не пускают: говорят. выпил он, отдыхает.

Пришел я на следующий день, и на третий... Времени до Нового года оставалось мало, и я должен был во что бы то ни стало привезти в редакцию приветствие – хотя бы несколько слов.

Пытаюсь прорваться в номер, меня не пускают. Выходят от Шолохова незнакомые люди, – очевидно, писатели, – спрашивают:

– Чего надо?

Я им объясняю. Они качают пьяными головами:

– Не, корреспондентов не принимает. Из «Правды» были – не принял. Тут вот одна дамочка приходила – тоже корреспондент – ее принял.

Кто-то советует:

– Дамочку пришлите. Молодую, красивую. Женщинам не отказывает.

Пришел в редакцию и доложил Устинову. Он послал женщину, – не помню ее фамилию. Женщину Михаил Александрович принял и, поскольку был в сильном подпитии, на клочке бумаги написал несколько слов – вроде тех, что «Летчиков люблю, приветствую и желаю счастья в Новом году».

Приветствие это в газету не пошло, оно многие годы лежало под стеклом на столе редактора.

С Шолоховым знаком не был, но разговоров о пьянстве нашего замечательного писателя наслушался довольно. Не здесь ли следует искать причину, что свои главные произведения – «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина» – он написал в молодости, до войны, когда его могучий ум не был замутнен алкоголем, а после войны, хотя он и жил, к нашему счастью, сравнительно долго, он написал лишь несколько коротких вещей, да и то книгу о войне «Они сражались за Родину» не сумел закончить. И если уж говорить правду: написанное им в зрелом возрасте по силе художественного изображения значительно уступает ранним произведениям.

И разве не то же наблюдаем мы у другого замечательного писателя – Михаила Бубеннова? «Белая береза», написанная в молодости, ярче, сильнее его поздних произведений – романов «Орлиная степь» и «Стремнина».

И вот что характерно: в «Белой березе» содержится основательно глубокий, точный по всему философскому осмыслению, провидчески-пророческий анализ войны – этого важнейшего события в русской истории, в поздних же романах, хотя и поднимаются мощные пласты народной жизни, но мудрого, на все времена годного и непогрешимого анализа общественных процессов мы уже не находим.

Весьма вероятно, – с наукой спорить не станешь! – что угнетенный алкоголем мозг, «кладбище» из погибших корковых клеток, уже не позволил писателю с прежней зоркостью рассмотреть дальнейший ход нашей истории и, с присутствующим автору «Белой березы» блеском, живописать эпизоды народной жизни. Лица и характеры своих героев.

Многому может противостоять человек, многое может он одолеть и осилить, но каждодневные, много лет кряду изливающиеся в мозг потоки алкогольного яда не щадят никого; ум и талант угнетаются, память тускнеет, острота всех впечатлений притупляется...

Врач ему мог бы сказать:

– Да у вас, батенька, «сморщенный мозг». Чего же вы от него ждете?

Фирсов, Владимир Фирсов. Почему я его взял для доказательства пагубы алкоголя? Разве другие поэты меньше пили и пьют? А Борис Ручьев, Владимир Котов, Василий Федоров, Николай Рубцов, Алексей Фатьянов? Поэты перворазрядные, таланты редкие, – стихи и песни, созданные ими, поэмы и баллады радуют нас и будут радовать многие другие поколения, – они создали поэзию мирового класса, доказали, что и сыны простого люда, дети рабочих и крестьян, смогли встать вровень с корифеями русской литературы, вышедшими из дворян.

Велик их вклад в русскую литературу, велики заслуги. Их, к счастью, не убили в казематах тюрем, не уморили в лагерях ГУЛАГа, – но и в них, как в Фирсова, выпустили смертоносные залпы алкоголизаторы народа.

Все они много пили, – можно сказать, были пьяницами. И умерли в расцвете сил, – иные, не достигнув и пятидесяти. Мне могут сказать: «Извините! Это – поклеп! Да еще на кого, на умерших!»

Нет уж, лучше вы меня извините. Каждого из названных я знал хорошо – и видел, как они пили. Вина моя только в одном: не понимал я всей глубины этой проблемы, бесстрастно и равнодушно смотрел на то, как пили мои товарищи, и на то, как пил и спивался народ. Работая в «Известиях» и в других газетах и журналах, написал много статей о пробелах в народном хозяйстве, фельетонов, бичующих разные пороки, но о вреде пьянства не написал и строчки. Писал рассказы, повести, романы, но и в них лишь отдельными штрихами, мимоходом касался этой проблемы, – может быть, важнейшей из всех проблем. На моих глазах гибли товарищи, – жалко их было, но, чтобы забить тревогу, подняться на борьбу с этим злом, – нет, таких побуждений не было. А все потому, что и сам был запрограммирован на винопитие, – радовался лишь, что пил в меру, нечасто и немного, – «культурно», как все хорошие люди. Над психикой и разумом довлела традиция, норма общественного поведения, – питейная запрограммированность, как точно определил Геннадий Шичко. А наш замечательный поэт Владимир Котов, много пивший и рано умерший от вина, как бы выговаривал обиду за себя и за всех других пьющих:

Средь традиций самых разных  
Есть нелегкая одна:  
Если встреча,  
Если праздник, –  
Значит, пей,  
И пей до дна!  
Пей одну, и пей другую,  
И седьмую, и восьмую, –  
Просят, дают, жмут «друзья», –  
Ну, а если мне нельзя?!  
Ну, а если есть причина  
Завтра утром в форме быть,  
Значит, я уж не мужчина,  
Хоть давься, но должен пить?!

Котов, как и Есенин, как и все мы, русские литераторы, вышедшие из глубин народа, не знал научной и философской стороны проблемы, но силой художественного таланта, интуицией мощного ума провидел суть проблемы и сумел облечь ее в удивительно точную и емкую поэтическую форму. Он написал эти стихи давно, – я тогда не знал ни Шичко, ни Углова и на пьянство смотрел глазами обывателя. Между тем, видел, как алкоголь душил моих товарищей, в том числе и Володю Котова. Помню эпизод на даче: было это в году шестидесятом или шестидесяти первом. У себя на даче я, вместе с мастером, менял электропроводку. Неожиданно явились три поэта: Котов, Фирсов, Кобзев. Были они навеселе. Мы поставили самовар, накрыли стол. Жена моя выставила бутылку вина – весь наш запас. Выпили по рюмке, другой, но это лишь распалило аппетит гостей. Котов выказывал нетерпение, пожимал плечами.

– Где у вас продают вино – мне, что ли, сходить?

Он во всякое другое время был деликатен и даже застенчив; родился и вырос в Москве, на площади трех вокзалов, – в доме, который стоял поблизости от дома, где родился Лермонтов. Для меня Владимир был всегда примером интеллигентности и даже какого-то врожденного, ненаигранного аристократизма, – что же до его поэзии, я перед ней благоговел, а тут он демонстрировал грубоватую бесцеремонность. И Фирсов, и Кобзев ему говорили, что уже поздно, магазины закрыты, но он их не слушал. Обращался ко мне:

– Иван... Вина! Чаем сыт не будешь, вода мельницы ломает.

Внутри у него все горело, он, как наркоман, требовал очередной инъекции.

Пришлось идти к соседям, доставать вина.

Утром Володя ко мне не зашел, уехал в Москву, домой. Видимо, испытывал неловкость от вечернего эпизода.

Эту дьявольскую способность алкоголя отнимать у человека ум. заглушать моральные установки заметили давно. Вильям Шекспир, хорошо знавший мир артистов, наблюдавший их в быту и на сцене, писал: «Люди выпускают в свои уста врага, который похищает их мозг».

Писатели, больше других страдавшие во все времена от вина, дали нам и самые точные, самые емкие определения пагубы алкоголя. Художественную литературу иногда называют матерью всех наук, источником, питающим философию, социологию, экономику и политику. И, может быть, потому иных писателей уже при жизни признавали духовными вождями народов, ставили выше царей, королей, монархов. Таковыми были Гете, Толстой, Пушкин... И надо же было так распорядиться судьбе, провидению, – всем земным, космогоническим силам, – что именно на голову таких людей больше всего свалилось алкогольного яда! Кого тут винить? В чем тут дело? Поди, разберись, а только во всех странах так повелось, – особенно в наше время, – писатели пьют почти поголовно и упиваются до степени хронического пьянства и даже алкоголизма.

Видимо, и раньше было так, и это дало повод Вальтеру Скотту заметить: «Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа».

Я не знаю из нынешних ни одного писателя, который бы, подобно Льву Толстому, последовательно и убежденно боролся с пьянством, но в литературе встречались раньше и нередки случаи теперь, когда самые талантливые и честные литераторы, пострадавшие и даже гибнущие от пьянства, бросали в мир гневные осуждения этому пороку. И, конечно же, как я уже говорил, самый яркий пример – Джек Лондон. Когда он понял, что алкоголь сгубил его здоровье, выводит его из строя во цвете творческих лет, он написал великолепную повесть «Джон Ячменное зерно». Из ячменя в Америке делали водку, – отсюда образ веселого рубахи-парня Джона, с которым бывает легко и хорошо в первые минуты, но который ведет к одному концу – к гибели. Подавленный и размятый «Джоном», писатель пришел к мрачному выводу: мужскому сословию не справиться с этой черной силой, – он призывал женщин подняться на борьбу с пьянством и одолеть это зло.

Пафос книги – в полном отрицании алкоголя, неприятии этого зелья ни в каком виде и ни в каком количестве. И в этом заслуга писателя, – он сумел подняться над многими учеными, философами, и даже над установками христианской религии, допускающей потребление вина в ограниченных, «разумных» пределах. И уж, конечно, Джек Лондон в осмыслении этой проблемы проявил куда большую мудрость и прозорливость, чем многие его американские коллеги, а также и наши писатели.

Поэт Расул Гамзатов, по-кавказски преданно всю жизнь служивший Бахусу, написал стихи:

Хвалю уменье пить вино.  
Но, право, может быть,  
Ценней уменье лишь одно:  
Совсем вина не пить.

То есть предположительно он допускает мысль, что совсем не пить, все-таки, лучше. Впрочем, и умеющих пить и не упиваться он тоже хвалит.

Из русских современных поэтов один только Игорь Кобзев много, убежденно и прекрасно писал об алкогольной опасности для народа, – писал стихи, баллады, есть у него и целая поэма о пагубе алкоголя.

В стихотворении «Инвалид» есть такие строки:

Вино, кому оно полезно?  
И кто его от счастья пьет?  
А инвалиду на протезах  
Вино опасно в гололед!..

Он весь – как бы войне протест.  
Он – горькая ее обнда.  
А тут еще скользит протез,  
И ветер валит инвалида.

Я уже говорил, что ту же «проклятую» тему серьезно разрабатывал другой наш замечательный поэт Сергей Видулов, и Алексей Марков – тоже отличный, перворазрядный, но упорно замалчиваемый нашей критикой поэт, – и он хорошо понимает и сумел глубоко пропахать эту тему, но, повторяю, никто из современных литераторов не

включился в серьезную борьбу за трезвость. И, может быть, потому, что главный отряд национальной интеллигенции стоит в сторонке и как бы равнодушно наблюдает экологическую катастрофу. Безответственным людям из правительства удается из года в год наращивать потоки алкогольного яда, устремляющегося прямо в мозг людей.

Наблюдаю и такой печальный факт: молодое поколение будто бы и совсем не замечает алкогольную беду, – даже и тогда, когда беда эта у них на пороге. Мне недавно рассказала Нина Григорьевна Емельянова – московский врач-нарколог, успешно отрезвляющая алкоголиков по методу Шичко. К ней обратился молодой поэт Владимир Турагин. О нем в Москве говорят: очень талантлив, но в журналах и издательствах его почти не печатают: обнаженно искренние, «крамольные» стихи его пугают редакторов. Небольшую книгу стихов он все-таки издал. Я читаю ее и радуюсь: действительно, родился большой поэт, – дай Бог ему здоровья и успеха!

Вон ведь как пишет:

Москву давно трясет озноб.  
И время зло колотит гроб.  
Испепелив румянец россиянки.  
Во все глаза гляди, страна. –  
Идет незримая война,  
Уж на Арбате мечутся подранки.  
Душа устала от вранья,  
А в небе тучи воронья.  
Седлать коней, седлать коней  
Велела совесть.  
И повод врезался в ладонь.  
В огне сгорает белый конь.  
Давя копытом дьявольскую помесь.

Или вот:

Убит Есенин и убит Шукшин!  
Рубцов, Вампилов, Толя Передреев!  
Россия, Русь лишается вершин,  
И потому петля на нашей шее.

За страну, за народ заступался, а вот Джона, схватившего за горло и народ, и его самого, – не видит. Не знает поэт, не понимает, что уж давно поселился на нашей земле Джон Ячменное зерно, и коварно, и верно служит он всем мучителям и утеснителям народа.

Что же, скажет читатель, у современных литераторов нет того чувства патриотизма, которое отличало Достоевского, Добролюбова, Некрасова, или они, выходцы из народа, меньше любят свой народ, чем любил его граф Толстой? Нет, конечно. Однако факт налицо, и нам лишь следует искать причины этого явления.

Одна причина старая, ее знали и видели давно: со времен Вергилия и Овидия многие мастера слова полагают, что вино и писательский труд неотделимы друг от друга. Повторю знаменитую фразу Эрнеста Хемингуэя: «Вы – пьяница, однако ничуть не больший пьяница, чем Джойс и все другие хорошие писатели».

В молодости страсть к вину усугубляется отсутствием мудрости и опыта, естественным стремлением к самостоятельности и нежеланием слушать старших. Когда же опыт и мудрость приходят, и является понимание пагубы спиртного, бывает уже поздно: Джон Ячменное зерно – лучший из ваших друзей, и вы уже не в состоянии оттолкнуть его.

Вторая причина: доступность алкоголя, все более нарастающее его предложение. За период 1900-1969 голов в пятнадцати ведущих капиталистических странах алкоголизм возрос в 25 раз, а неврозы в 29 раз.

Наше правительство вовсе перестало воспитывать народ в трезвенническом духе. Перед Первой мировой войной в России издавалось свыше 10 антиалкогольных журналов, много брошюр, листовок и других печатных изданий, работали четыре постоянных антиалкогольных музея, действовало много обществ трезвости, – били во все колокола патриоты-писатели, журналисты, ученые. В результате такого массивного наступления царь Николай II вынужден был в 1914 году ввести «сухой закон». И он просуществовал у нас до 1925 года. По данным В. М. Бехтерева, в психиатрические больницы поступило душевнобольных в 1913 году – 10210 человек, в 1914 – 6300, в 1915 – 911, а в 1916 – 0!

Интересно, сколько человек ныне поступает ежегодно в психиатрические больницы?

Поразительно и еще одно обстоятельство: нынешние биографы, критики, литературоведы, исследуя творчество писателя, не видят и упорно не желают видеть этой проблемы, никогда не скажут: а какую роль

сыграл алкоголь в его жизни и творчестве. Пьянство – дело нечистое, вроде венерической болезни. Но ведь со всякой болезнью человек идет к врачу, а вот с этой... Лучше о ней помолчать.

Почему и мне-то нелегко писать на эту тему. Знаю: многие из моих знакомых и друзей-литераторов в недоумении пожмут плечами: чтой-то мол, Иван, с крыши, что ли, съехал? Какая муха его укусила? Пусть каждый для себя решает: пить или не пить. И сколько пить, когда пить и с кем пить. Дело это личное, сугубо личное.

Но в том-то и дело, мои дорогие друзья, – пьянство писателей – дело общественное, государственное. И жаль, что об этом у нас не принято говорить.

Раньше я, как и теперь многие, не считал своих друзей пьяницами, но теперь считаю. И не поклеп возвожу на них, а предъявляю счет тем, кто спаивает наш народ, кто отменил введенный царем Николаем «сухой закон» в России, в течение семидесяти лет увеличил в двадцать раз производство алкоголя в нашей стране, поставив ее на первое место в мире по производству, продаже и потреблению алкоголя.

Рекорд вселенского позора!

Никакие войны, эпидемии, репрессии вместе взятые не нанесли нам такого урона, который мы понесли от алкоголя.

Историк! Пришло твое время. Вычисли имена героев алкогольного геноцида – покажи их людям! Ведь до сих пор их имена усердно скрываются в тумане пустопорожних демагогических баталий, – а иные, наиболее ловкие и речистые отравители миллионов, компрачкосы, уродующие младенцев, ездят на черных «Волгах», живут на дачах за высокими заборами, сидят в министерских и иных высоких креслах!

Их бы – на свет! Пора бы и разглядеть физиономии мастеров-каменщиков, рядом с которыми и Гитлер, и Сталин выглядели бы короткими овечками.

Ах, нет! Не встрепенется, не поднимет головы писатель, историк – радетель и заступник народа. Холодно и равнодушно смотрит он на то, как море спиртного, изливаясь в мозг и душу людей, «скотинит и зверит» их и сводит раньше времени в могилу, обездоливая семьи, обескровливая, ослабляя государство.

И когда уж настанет он, день нашего прозрения!

Строга и справедлива бывает статистика, и единственную кафедру статистики – она в Москве, в Плехановском институте, – возглавляет мой давний приятель профессор Борис Иванович Исаков, – один из лидеров трезвеннического движения, смелый, благородный человек! Но он со своей кафедрой, считая доходы и расходы, проходит мимо одной важнейшей величины: утраты чести и благородства людьми, потребляющими алкоголь.

В наше время Америка не дала миру ни Драйзера, ни Джека Лондона, в Англии не родился Байрон, во Франции нет ни Флобера, ни Стендаля, ни Мопассана... Россия ждет не дождется Пушкина...

Но, может быть, и здесь не в последнюю очередь виноват алкоголь? Пьем-то мы в двадцать раз больше, чем пили во времена Пушкина. Волга – вон какая ширь и махина, а и то дрогнула, помутнела от стоков, а мозг-то наш – малость какая! – а и на него потоки ядов обрушены. И как еще держится, бедняга? Изнемогает в корчах, судорогах, – и уж многое понимать перестал, не может выдать на-гора ни «Войны и мира», ни «Евгения Онегина», – подчас понять не может: где правое, а где левое, – и всякого проходимца готов над собой поставить. Многие уж утратил, а – ничего, в основе своей устоял. И еще машину умную соорудить может и в космос взлететь... Держится, родимый, хотя уж и с большим трудом! Не совладали с лукавым и глумливым, коварным насмешником Джоном Ячменное зерно. Но верю: придет время, придет оно, желанное, соберемся с силушкой – и Джона одолеем.

Америка уж взялась за него. Пора и для нас приспела.

В дачном поселке мы с Николаем жили рядом, нас разделяли два дома. Я видел, как он погибал – от водки, от пьянства. Написал много книг, вырастил детей, уволился из армии в чине полковника: ему бы жить да жить, а он, закрывшись в кабинете, не писал, а пил. Достанет из-под стола бутылку и украдкой, словно кого опасаясь, наполнит рюмку. И смотрит в окно: тупо, печально. О чем он думает?.. О жене? Он ее недавно похоронил. О книгах, которых не написал, но о которых мечтал в молодости?

Не знаю, но я по давно заведенной привычке иду к нему. Работали в газете военных летчиков «Сталинский сокол», писали свои первые рассказы. И каждый мечтал опубликовать книгу, стать писателем. Журналисты все мечтают о писательстве, но вырваться из газеты удается немногим.

Открываю дверь, опускаюсь в кресло у окна. Он сидит за столом. С пола достает бутылку и где-то там, у ножки стола, наполняет рюмку.

В мою сторону бубнит:

– Тебе не предлагаю. Знаю – не пьешь. Чистоплюй несчастный!

Пьет он трудно, точно давится. И при этом морщится, как от зубной боли.

– Выполнил свою норму? – спрашивает он с нескрываемой досадой, словно укоряя меня за то, что я работаю регулярно, поднимаясь в пять часов и до девяти сижу за столом.

- Да, выполнил.
- А ко мне пришел отдохнуть, развлечься?
- Могу уйти.
- Сиди, да только не мешай и мне выполнять норму.

Некоторое время мы оба молчим, а потом я беру бутылку и выбрасываю ее в окно. Она летит далеко, через дорогу. Николай вздрагивает, ошалело смотрит на меня: такого у нас не было! Хочет что-то сказать, но слов не находит. Себе под нос бурчит:

- Купил на последние деньги, а ты выбросил.
- И совсем тихо, и не зло:
- Так не борются... с пьянством.
  - А как борются?
  - Не знаю, а только не так.

Николай поднимает голову, смотрит в окно. Взгляд его устремлен на заросшую травой клумбу. Когда-то ее обложила белыми камешками жена Николая – Марина, и тут, под окном выращивала розы.

Вдруг ясным и твердым голосом говорит:

- Не сумел ты отвратить от рюмки Марину... Жила бы теперь.

Обхватил руками голову, заплакал.

- Не сумел. Иван. Жила бы...

Я подошел к другу, обнял за плечи. Так мы стояли долго.

- Но ты-то, ты-то... Образумься. Брось пить.

Николай подвинул к себе стопку книг, – их я подобрал ему для чтения. Наверху лежал томик Джека Лондона. Николай раскрыл его, нашел повесть «Джон Ячменное зерно». Сказал:

- Как это страшно, – в сорок лет уйти из жизни! И какой талант!

- Его, как напалм, сожгла водка.

– И ведь понимал, что гибнет. Говорил, что мужики все пьют, а потому они не справятся с алкогольной чумой. Упавал на женщин, но в наше время и женщины пьют.

- Я все-таки надеюсь: человечество одолеет эту напасть.

- Надеешься на новый метод?

- Да, я верю в него.

– В нем одно плохо! – оживился Николай, и в глазах его я заметил огонек прежнего задора. – Надо идти куда-то, слушать этих самых... знатоков метода.

– Можешь и не ходить! – бросал я ему спасительную нить. – Ты же писатель, сильный ум, столько знаний. Возьми вот эту книгу, эту... прочти внимательно. А вот тут форма дневника. Заполни его по пунктам. Прочитай вслух – вон у тебя магнитофон. Запиши на кассету, а потом вечером, на сон грядущий, прослушай, да не один раз... И бутылка отступит. Поверь, старина!

Николай поднялся, расправил плечи, стал ходить по кабинету.

– Да, да, Иван, ты прав. Что ж у нас, ума что ль мало, иль воля нас оставила? Мы сами должны справиться. Да и тебя хоть взять: одолел же ты заразу! И я, и я, старик, возьмусь. Вот посмотришь!

– Конечно, Николай. Иначе и быть не может. Ты же воин, Россию защищал. А теперь разрушителям помогаешь.

- Эка хватил! Я уж и разрушитель.

– Как и всякий, кто пьет! Ну, сам посуди: от пьянства страна каждый год около миллиона жизней теряет. Да ведь это больше чуть не вдвое, чем мы потеряли за всю Первую мировую войну.

- Неужели?..

- А ты почитай книги... Каждая третья смерть в нашей стране от алкоголя. Война идет. И ты ее солдат.

– Да, Иван, согласен. Солдат. Нет, пожалуй, в этой войне скорее смертник. Солдат-то, он за победу бьется. Но ведь смертник-то – я, и разрушаю только себя.

– Не скажи, Николай. Ты писатель. Голова народа, его совесть. На тебя равнение. И чем ты значительнее, тем ответственность твоя выше.



– Понимаю... Это и впрямь, как на войне. Выпил солдат – себя подставил. А если командир? Да повыше. А тем паче маршал. Тут уж и оторопь берет.

– Меня уж давно оторопь берет. Коли бы пили только последние пропойцы, которые у пивных ларьков гудят. Тогда бы каждая мамаша подвела малыша и сказала: «Никогда не пей, миленький, видишь, каким стал дядя».

У нас же пьют самые-самые – маршалы. Пьют в своих роскошных квартирах, на дачах, сидя в удобных креслах, пьют из хрустальных бокалов.

– Пример другим подают, – так ты хочешь сказать?

– Мало того, и потомство губят. Ведь алкоголь, как и радиация, кодируется в генах. И ведь народ знал об этом. И свое наблюдение в поговорке выразил: «Дети расплачиваются за грехи отцов своих».

– Мда-а, невеселая картина.

– Наш выдающийся ученый, президент Славянской академии Борис Иванович Исаков сказал в Думе: «Разве позволил бы трезвый народ расстрелять свой Верховный Совет?»

Если народ хочет достойной жизни, он должен законы оберегать, как собственные стены, а наш народ позволил свой закон расстрелять.

А мы, писатели, что ж, не виноваты? На нас вина лежит прежде всего.

– Нет среди нас Толстого, – продолжал я. – В начале века Россия делила с Норвегией последнее место по душевому потреблению алкоголя, а и то, он какую тревогу поднял. Тринадцать статей против пьянства написал, гневное письмо царю послал. А теперь? Нет заступников у народа.

Николай взял стопку книг со стола, подбросил на ладони:

– Читать буду.

Я ушел в надежде, что мой друг сам себя отрезвит, и несколько дней не заходил к нему. А тут шел мимо раскрытого окна и увидел Николая. Жалкий и потерянный, сидел он за столом. Весь сжался, словно от холода или в ожидании удара.

И удар последовал. Николай еще «отекал» полгода, а потом тихо умер.

А ведь мог бы... подарить себе вторую жизнь.

Поразительно, как прилипчива и коварна идея культурного винопития. У всех народов, на всех языках только и слышишь: «пить умеренно», «пить культурно», и мало кто задумывается над смыслом этого словосочетания. В самом деле: что значит пить культурно, умеренно? Мы теперь знаем, что вино яд, наркотик. и продолжаем повторять «пить умеренно». Но разве можно умеренно, потреблять кокаин, гашиш или марихуану? Ну. а если умеренно ругаться, драться, воровать?.. Абсурд, конечно, а поди ж ты, даже очень образованные люди скажут вам: «Напиваться до риз – это плохо, а выпить немного, да в кругу друзей. да культурно – это ничего, это даже полезно животу нашему. И даже церковь православная – хранительница морали и нравственности нашей, не скажет прихожанину: не пей вовсе, а изречет: пей да дело разумей.

В 1986 году в журнале «Октябрь» была напечатана моя повесть о Геннадии Шичко: «Тайны трезвого человека». Я рассказывал об ученом и об его удивительном методе безлекарственного избавления алкоголиков от пристрастия к спиртному. Стал получать письма читателей: «Прочел Вашу повесть и перестал пить». Но сам я продолжал пить. Теперь уж совсем редко, но пил. Познакомился с академиком Угловым. Этот человек еще до войны начал борьбу за трезвость и мужественно ведет ее по сей день. но тогда он тоже пил. Вернее сказать, не пил, но, угощая в своем ломе других, ставил рюмку и перед собой. «Для приличия» отпивал глоток-другой, чтобы не вносить дисгармонию в дружескую беседу. Но однажды их малолетний сын Гриша, наблюдая за столом родителей, крикнул: «Папа! Ты же сам говорил, что вино – яд. Оно вредно!»

Заплакал и убежал к себе в комнату.

Угловы дрогнули, они теперь при Грише не выставляли вино, но если сына не было, угощали друзей и отпивали по глотку сами. Абсолютными трезвенниками стали после одной памятной беседы с Люцией Павловной. Вот как я описал эту беседу в повести о Геннадии Шичко:

«Люция Павловна неожиданно спросила меня:

– Вы пьете?

– Вообще-то... непьющий, но в гостях, при встречах...

– Иван Владимирович – ритуальщик, – пояснил Геннадии Андреевич, – сам в одиночку не пьет и тяги к алкоголю не имеет, но при случае... когда все пьют...

Мне не понравилось, что за меня так бесцеремонно расписались, особенно резануло слово «ритуальщик». Больше всего на свете я ценю свободу, внутреннюю независимость от чужих мнений, взглядов, и вдруг – ритуальщик!

– Извините, – стал возражать я, – ритуал, обычай, правило, а я...

– Верно – правило, обычай, – продолжал Шичко, – скажу вам больше: вы запрограммированы на винопитие. Самой жизнью, всем объемом жизненных впечатлений. Вы были младенцем, а уже видели, как пьет кто-то из ваших близких. Вы видели свадьбы, похороны... Везде пили. И так каждому из нас закладывалась программа. Ритуал, как перфокарта, – у нас в сознании.

Умом я понимал правоту рассуждений Геннадия Андреевича, а сердце протестовало. Все-таки содержалось что-то обидное, унижающее во всем, что говорилось о моей психологии, о сознании, внутреннем мире – о том, что составляло главную суть моего «я», чем тайне я дорожил и что свято хранил от всяких внешних вторжений.

Наступила пауза – долгая, неловкая. Все думали о природе винопитий, казавшихся невинными нам всем, в том числе и Федору Григорьевичу...

Да, мы пили, но так немного, что считали себя непьющими.

Люция Павловна, наклонившись ко мне, проговорила:

– А вы попробуйте совсем не пить. Совсем-совсем. Ну, вот как мы. – Взглядом она указала на графины и графинчики с соками, стоявшими на столе. – Ведь это же свобода, это – независимость. Полезно и красиво.

В разговор вновь вступил Геннадий Андреевич:

– Наконец, исполните долг гражданина.

– Каким образом? – не понял я.

– Послужите примером для других. Глядя на вас, и близкие ваши, и друзья задумаются. А, может, и совсем перестанут пить.

Мне, естественно, хотелось проявить по отношению к хозяевам и, особенно, к хозяйке, деликатность:

– Да, да, конечно, я попробую...

– Вы обещайте! Это очень важно, если вы сейчас же, вот здесь, скажете нам: пить не стану. Ни капли. Никогда!

– Разумеется. Я, пожалуйста, если хотите...

– Очень, очень я этого хочу – чтобы вы не пили. И он вот, ваш друг Федор Григорьевич, и жена ваша Надежда Николаевна – все мы очень хотим... Ведь вы литератор, пишете книги, статьи, учите других не пить, а сами хоть и понемногу, но позволяете...

И я сказал:

– Обещаю вам – пить больше не буду.

– Совсем ?

– Да, совсем. Ни капли. Никогда!

На обратном пути мы некоторое время ехали молча. На этот раз наш путь лежал по проспекту Смирнова, пересекал Черную речку, печально знаменитую дуэлью, во время которой был смертельно ранен Пушкин. Вечерний Ленинград, отражаясь то в водах Черной речки, то Большой, то Малой Невки, стелил тысячи огней, и чудилось, что небо поменялось местами с землей и звезды летели нам под колеса. Я думал о своем обещании не пить – никогда и ни капли! – временами жалел, что лишил себя удовольствия изредка в кругу друзей поднять рюмку с хорошим вином, являлись дерзкие мысли нынче же нарушить клятву, но, украдкой поглядывая на свою жену, на Углова и Эмилию Викторовну, понимал, что нарушить слово свое не могу и что не пить вовсе – это теперь моя судьба, мой новый стиль застолий.

Несмело, неуверенно заговорил:

– Я, кажется, сдуру...

– Что? – встрепенулась Надежда. – Уже на попятную? Нет, голубчик, ничего не выйдет. Если притронешься к рюмке, всем расскажу, как ты давал обещание, сорил словами».

Вот так произошло мое возвращение к первородному состоянию абсолютной трезвости. С тех пор прошло много лет, я не выпил ни одной рюмки вина, и не только не жалею об этом, но и бесконечно благодарен тем, кто обратил меня на путь трезвости.

В нашем поселке на берегу крошечного озера с зеркально чистой водой жил уважаемый всеми нами исторический писатель Сергей Николаевич. Говорю «исторический» потому, что писал он исторические рассказы, повести и как эпический писатель жил тихо, уединенно и имел строгий основательный уклад жизни.

В отличие от всех других писателей, моих товарищей, он охотно вступал со мной в беседы о пьянстве. После опубликованной повести «Тайны трезвого человека» сказал:

– А этот твой герой Геннадий Шичко к тебе на дачу приедет?

– Обещал быть, но не знаю, когда соберется.

Сергей Николаевич оживился.

– Ты меня познакомь с ним.

– Хорошо, мы зайдем к вам.

Сергей Николаевич был на несколько лет меня постарше и, может быть, потому называл меня на ты, я же в общении с ним не позволял себе фамильярности, чувствовал в нем большую внутреннюю культуру, какой-то не свойский, а высший дух, аристократизм жизни и мышления. Ему под стать была и его супруга Екатерина Ивановна – член-корреспондент Медицинской академии, директор какого-то научного института.

Оба они пили, но пили так, что никто их не считал не только пьяницами, но даже пьющими. Они и в процесс винопития вносили элементы тонкой бытовой эстетики, легкого изящного артистизма. Сергей Николаевич не пил водку, а пил вино, коньяк, ликеры. И, прежде, чем поднесет рюмку к губам, посмотрит сквозь ее содержимое, скажет: «Чистый рубин. Так бы и любовался!» И выпьет не сразу, а мелкими глоточками, – как ныне учит пить и закусывать Солоухин.

«Но что это он спрашивает о Шичко? – подумал я тогда. – Уж не хочет ли избавиться от столь малого для него удовольствия?»

Заходил я к нему два-три раза в неделю, замечал: пьет он ежедневно и свою очередную книгу – роман об Иване Калите – подвигает медленно.

Однажды мне кто-то сказал:

– Екатерину Ивановну уволили с работы – за алкоголизм.

– Как? – удивился я.

– А так. Она уж давно... пристрастилась. Пила спирт на работе, каждый день.

Известие меня ошеломило. Екатерину Ивановну я знал лет тридцать. И жены наши были подругами. Но в последнее время мы редко ее видели: она все больше жила в Москве, на дачу не приезжала. А если приедет – поработает час-другой в саду, на своем розарии, и поднимется вверх в спальню.

«Устает на работе», – думал я, и не давал себе труда поразмыслить, а что с ней происходит.

На этот раз решил: «Вот зачем спрашивал меня о Шичко Сергей Николаевич?»

Стал задумываться о роли в их жизни вина. У них были три сына – все женаты, имели детей и жили в Москве. Они тоже пили, – видимо, в подражание родителям. Среди их детей – двое дефективных. «Неужели и тут – злая сила алкоголя?»

В то время я уже ввязался в борьбу с алкоголизмом, написал три-четыре статьи, опубликовал повесть о Шичко, а вместе с академиком Угловым опубликовали полумиллионным тиражом книгу «Живем ли мы свой век».

Приходила на ум статистика Бориса Ивановича Исакова: культурно пьющий приобщает к пьянству шестнадцать-восемнадцать человек. Двух из них убивает. А вот здесь: тихий пьяница Сергей Николаевич увлек за собой жену Екатерину Ивановну, трех сыновей, внуков, товарищей.

Картина жутковатая, а многим и невдомек, что происходит в этой с виду благополучной и даже преуспевающей семье.

Сергей Николаевич, видно, давно почувствовал беду. Екатерине становилось все хуже: у нее кружилась голова, так вдруг ни с того ни с сего наступала слабость. Как-то я ей сказал:

– Может быть, вам полечиться в клинике Углова?

По внезапно вспыхнувшему свету в ее глазах понял, что предложение ей понравилось, но она тут же сникла, проговорила:

– Нет, Иван. Углов мне не поможет. Я ведь сама медик, знаю: болезнь моя неизлечима, с ней одна дорога – в Могилевскую.

Она при этом грустно улыбнулась, и долго молчала, думала. Я ждал, что она сама скажет о своей болезни, но она вдруг спросила:

– А что, ваш Шичко, он совсем падших алкоголиков тоже лечит?

– Он не лечит, его метод скорее педагогический. А насчет падших – да, он любых ставит на ноги.

– А-а... – протянула она, и я услышал в ее голосе безнадежную иронию. Она не спеша подошла к буфету, достала бутылку, налила стаканчик. Руки ее мелко подрагивали. Не стесняясь меня, выпила. И, оживившись, как от наркотика, заговорила:

– Я, Иван, до ручки дошла, без водки часа не могу. Цирроз печени развился, сосуды и все такое. Никакой Шичко не поможет. А к тому же, – ты прости меня, не верю я ни в какие методы. Я читала очерк твой – и тебе не верю. Ты уж прости – не верю и все тут!

Она не верила, а Сергей Николаевич, видимо, надеялся. Расспрашивал:

– Скажи, Иван, Шичко с одним-двумя может заниматься? И не там, в Питере, а к примеру, здесь, в Москве?

– Может, конечно, но просить его об этом неудобно. Он в свои группы по двадцать-тридцать человек набирает.

– И все становятся трезвыми?

– Ну, не все, а процентов восемьдесят отрезвляются. Не поддаются лишь те, у кого интеллект слабый или дневник не ведут. Там, видите ли, дневник – обязательное дело. Через него, в основном, и уходит вся дурь.

– Да, да, у тебя в повести и об этом сказано. Сергей Николаевич замолчал, но затем вдруг обращался с вопросом:

– Неужели ты веришь?

– Во что?

– Ну, в этого... чудака. Ведь блажит, наверное, голову морочит.

Я на это отвечал:

– У меня статистика. Беседовал с каждым и домой ходил. И потом с некоторой обидой в голосе говорил:

– Мы с вами в газетах работали, не один десяток статей и очерков написали – разве мы хоть раз обманули читателя?

– Помилуй Бог, ни разу! Но тут уж больно дело необычное. Поверить трудно. Ну, сам посуди: если правда, то этот самый Шичко... – какое открытие подарил человечеству! Да ему за такое дело памятник золотой не жалко поставить.

– И поставят! Во всех городах и селах – и не только у нас в России.

– Да, да, – поставят. Только жаль, что мы с тобой этих памятников не увидим.

Заключение печальное, но, к сожалению, верное. Мир людской уж так устроен: он своих пророков долго не признает, а иных так и камнями побивает. К несчастью, именно это и случилось с Геннадием Шичко.

Русский народ давно заметил мертвую хватку алкоголя, окрестил его Зеленым змием. Змий или Джон – весельчаки, они имеют и еще одну общую черту: верность жертве. Алкоголь следует за своей жертвой как преданный пес – до могилы. Я эту собачью преданность «огненной воды» видел на примере Сергея Николаевича и Екатерины Ивановны. Бывало, зайду утром: мои друзья трезвые, бодрые. Сергей Николаевич пишет, а Екатерина Ивановна на огороде трудится. Но если встречу их после обеда – оба они под хмельком, и не трудятся, и бодрости никакой нет. И это уже в те годы, когда оба они были слабы, часто болели. Сергей Николаевич продолжал работать над романом, возлагал на него большие надежды. Но роман как заколдованный: не подвигался. Его творец теперь не просто пил, а уходил в запой, и эти погружения случались все чаще и выбивали его надолго. Я ничего не говорил, а он оправдывался: «Не упиваюсь в усмерть, а пью понемногу, культурно, а видишь – работать не могу».

Приехал ко мне Геннадий Андреевич Шичко. Зашли с ним к моим друзьям. Сергей Николаевич сразу подступился к делу:

– Иван вот говорит, что алкашей отрезвляете.

– Да, отрезвляю.

– Извините, но мне как-то не верится.

– Многие не верят. Таких маловеров жены и матери ко мне приводят.

– Ну, меня жена не поведет, – усмехнулся Сергей Николаевич.

– А вы сами приезжайте.

– Это к вам, в Ленинград?

– Да, я живу в Ленинграде.

– Ну, нет, туда меня и на аркане не затащишь. Я уж как-нибудь обойдусь. Если пьешь понемногу, так и ничего.

– У меня на этот счет иное мнение.

– Оставайтесь при своем мнении, они, мнения, не перчатки, скоро не меняются.

– Пожалуй...

Разговор не клеился, и мы скоро удалились. По дороге Геннадий Андреевич говорил:

– С такими труднее всего. Всеми признан, уважаем – такому нелегко унять гордыню и пойти на поклон к другому. Такой к последней черте подойдет, а все будет говорить: «Я пью умеренно, мне вино не мешает».

Долго после того я не был у своего приятеля. Он сам ко мне пришел. И сразу заговорил о Шичко:

- Я, кажется, был с ним не очень вежлив, и чаем не угостил...
- Пустяки вы говорите. Он рад, что познакомился с крупным писателем. Я ему вашу книгу подарил. Далеко вглубь я загонял иронию, – кажется, мой друг ее не услышал.
- Ты бы рассказал мне подробнее о методе Шичко. А? Расскажи, Иван.
- Что же мне лекцию, что ли, вам прочитать?
- Ну, лекцию не лекцию, а этак не торопясь, как школьнику, популярно...
- Ладно. Приготовьтесь слушать.

Миллиарды людей в течение тысячелетий видели, как падает с дерева яблоко. На землю, конечно. Не полетит же оно вверх! Что же тут удивительного? И стоит ли тут о чем-то думать?

Да, все так полагали, что здесь не о чем думать. И проходили мимо этого маленького явления. Но явился человек, который при взгляде на падающее яблоко, воскликнул: «О!.. Упало яблоко. Земля его притянула. И она притягивает не только яблоко, а и другие предметы. И нас в том числе. Ведь потому мы ходим по земле, а не улетаем в небо. Мы, правда, можем подпрыгнуть, но ровно настолько, насколько у нас хватит сил. Каких сил? А таких, которые позволят хоть на несколько мгновений преодолеть энергию притяжения...»

И мысли, цепляясь одна за другую, потекли дальше. И явили новые открытия, новые науки.

Вот что значит найти базовую формулу, верно и точно объяснить явление.

Шичко нашел базовую формулу, верно и точно объяснил явление, которое раньше все видели, но не знали, как объяснить его природу.

В наше время расцвета многих отраслей знания часто случается, что фундаментальные открытия совершаются на стыке наук. Так вышло и у Геннадия Шичко. Он свыше тридцати лет изучал проблемы физиологии человека, работал в Институте экспериментальной медицины – в отделе, которым некогда руководил Иван Петрович Павлов. Шичко проводил исследования, ставил опыты, изучал мозг, высшую нервную деятельность человека. В Ленинграде издана его книга «Вторая сигнальная система».

На каком-то этапе своих работ Геннадий Андреевич углубился в изучение механизма гипноза. Овладел этим механизмом. Получал результаты, изумлявшие его товарищей. К нему стали обращаться с просьбами полечить того-то и того-то. Один просил освободить от страха, другой – от любви к недостойной женщине... Кто-то просил избавиться от бородавок и т. д. Шичко многим помогал. О нем стали говорить. И людей обращалось все больше. Однажды пришел известный детский писатель Леонид Павлович Сёмин – попросил избавиться от алкоголизма. «Ну, тут я бессилён», – развел руками Шичко. Он знал, что от пагубы этой нет никакого средства, никто не может поставить на ноги спившегося бедолагу. Однако отказать человеку не посмел.

Так он впервые прикоснулся к проблеме, которой отныне посвятит остаток своей жизни.

Я не торопился приступать к изучению метода Шичко, – вначале читал его книгу «Вторая сигнальная система». С первых же страниц меня увлекла стихия научного поиска, крепкий, ясный стиль изложения, – нетрудно было заметить, что Шичко – крупный ученый, смело вторгается в заповедную область природы – в мир высшей нервной деятельности и мыслительного процесса.

Геннадий Андреевич шел по следам великого Павлова, исследовал функции высших разделов мозга.

И, конечно же, его новая теория избавления людей от наркотической зависимости – прямое следствие его тридцатилетних научных исследований. Это на их основе он вывел магическую формулу перепрограммирования сознания.

В другом месте он скажет: мой метод предполагает перепрограммирование сознания, замену винопитейного убеждения на трезвенническое.

Вот здесь и таится ключ к великой тайне, над которой тысячелетия ломали головы лучшие умы человечества. Иные из них, как увидим мы позже, очень близко подошли к разгадке этой тайны, а, например, американский президент Форд почти точно обозначил проблему, он сказал: «Страсть к алкоголю – это привычка», но все это были стихийные, подчас не вполне осознанные догадки. Математически точно выделил формулу наш питерский ученый Геннадий Андреевич Шичко, – он нашел слова для названия своего метода, разработал методику его практического применения на сотнях людей, которые здравствуют ныне и свидетельствуют нам абсолютную правоту ученого, силу и жизненность его открытия.

Но речь обо всем этом впереди.

Тогда же я собирал сведения об ученом, читал его работы.

Мне нужно было написать о нем очерк для журнала «Наш современник».

– Хорошо, – сказал Сергей. – Я понял, но ты теперь о методе, да подробнее.

– Итак, мы сказали: **перепрограммирование сознания**. Да, всего лишь два слова. И слова-то не новые, и не звучные, а одно так звучит длинно и коряво. Для поэзии и вовсе не годится. И самое главное: не трогают они

нашего воображения. Ну, подумаешь: перепрограммирование сознания. И что тут? Уж какое такое открытие в них может быть заключено? И зачем эти восторги? – великое открытие! Чудодейственный метод!.. Хватит кликушествовать!..

Но не торопитесь с приговором. Не дали себе труда вдуматься, а уже и готов суд. Подумали б хоть о том, что величайшее открытие физики тоже названо двумя словами: закон притяжения. Потом сказали: закон тяготения. Затем прибавили еще одно слово: всемирного. И получилось: закон всемирного тяготения. У Шичко два слова, у Ньютона – три. Но какой фурор произвели эти три слова во всех науках о познании материального мира! Сколько новых открытий и новых наук потянули они за собой!.. Все науки о строении вселенной: астрономия, астрофизика, астронавтика... Космическая медицина, космическая ботаника, космическая биология... Да разве перечислишь! И все науки так или иначе связанные с познанием космоса, как на сваях, стоят на тех самых трех словах, которые впервые произнес Ньютон.

А теперь попробуем вообразить, что же такое заключено в двух словах питерского ученого: перепрограммирование сознания. О них мы бы сказали так: для человека они столь же важны, сколько важен ньютоновский закон для жизни планет и всего космического пространства. Закон, открытый Шичко, как и закон Ньютона, существовал всегда, и, повинувшись ему, человек выжил и стал тем, кем он есть теперь: царем живой природы. Но в последние шесть-семь тысячелетий в этом законе случилась поломка, человек по какой-то злой воле стал его нарушать и сорвался со своей орбиты, полетел не туда. Иными словами: люди стали себя отравлять спиртным, никотином, наркотиками. Они нарушили закон природы, – может быть, главнейший: стали программировать сознание не на жизнь, а на смерть. И дрогнула природа людей – они стали погибать. Погибают не сразу, не так, как от пули – медленно погибают, но в таком количестве, с которым не сравнятся войны, болезни, стихийные бедствия вместе взятые. Гибнут целые народы: погубило прекрасное и многочисленное племя индейцев Америки, на наших глазах вымирают народы Севера. И повторяю: гибнут от того, что нарушают один очень важный закон человеческой природы: программируют свое сознание не на жизнь, а на смерть.

Произошла великая путаница в мозгах человека!

Да, сошел человек с завещанного Богом круга. Плохое назвал хорошим, вредное – полезным. Зелье, которое приносит ему смертельный вред, он назвал нектаром. И воспел в стихах:

Вино, вино... Оно на радость нам дано.

Академик Углов не устает повторять главную мысль учения Шичко: алкоголь держится на лжи. Говорите людям правду об алкоголе – и они перестанут пить.

Но тут возникает вопрос: а разве раньше люди не знали этого? В мире так много мудрецов, ученых – неужто не понимали такой простой истины?..

Послушаем величайших из мудрецов.

Александр Герцен: «Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравится, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь...»

Наблюдение верное, глубокое, но заметьте: Герцен говорит о действии вина, о его способности поражать, прежде всего, примитивного человека. Но где указание на саму природу пьянства?

Обратимся к Ивану Петровичу Павлову – великому физиологу. Он для познания природы алкоголя давал его собакам, и заметил, что у них даже малые дозы алкоголя резко снижали рефлексы и собаки приходили в норму только на шестой день. Из этого опыта наука могла сделать замечательный вывод: человек, выпивающий раз в неделю, всегда находится под вредным воздействием хмеля. А известно, что все виды наркотиков затрудняют не только физические реакции, но, прежде всего, снижают функции мозговой деятельности.

В 1912 году Павлов говорит о необходимости исключения алкоголя из сферы приготовления лекарств. Великий ученый первым наносит удар по тем, кто утверждает пользу небольших доз алкоголя.

Но и здесь... – заметьте: даже Павлов не вскрыл причину винопития.

Леонардо да Винчи предупреждал: «Вино мстит пьянице».

Вильям Шекспир: «Люди впускают врага в свои уста, который похищает их мозг».

Наш Федор Михайлович Достоевский с гневным презрением осудил и вино, и пьяниц: «Употребление спиртных напитков скотинит и зверит человека».

Врач – француз Деммэ больше тридцати лет наблюдал за потомством из десяти семей алкоголиков, вывел страшную статистику: идиоты, эпилептики, водянка головного мозга – и лишь девять детей в десяти многодетных семьях росли здоровыми.

И Деммэ отметил лишь действие вина на организм человека, но почему пьют люди и как бороться с этим злом, не указал.

Наши соотечественники – Д. И. Менделеев, С. П. Боткин, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев – встали к этой проблеме на биохимическом уровне, наблюдали за человеком, проводили опыты на животных... И – тоже: увидели лишь следствие – вред, наносимый алкоголем.

Лев Толстой задавался вопросом: а зачем люди пьют? Для какой такой цели они одурманиваются?

Сделал вывод: пьют для того, чтобы затуманить совесть. Например, перед тем, как совершить преступление.

Верно. И это верно.

Потом Толстой скажет: люди пьющие, курящие – люди дефективные.

Вот это уж совсем близко.

А Шичко сказал точно: люди пьют потому, что их сознание искажено ложными взглядами.

И ведь как просто: измени сознание, освободи его от лжи – и люди перестанут пить.

Сонм ученых, составляющих коллегия Министерства здравоохранения, решил: алкоголизм – болезнь, а всякую болезнь надо лечить. И придумывают таблетки, создали целую лечебную отрасль – наркологию. Страшное заблуждение, стоившее народам миллиарды.

Все это напоминает такую картину: на поле боя к раненому солдату подошли командиры, товарищи, разглядывают его рану, определяют, чем он ранен и куда. а помощи не подают. Солдат истекает кровью, а никто не знает, как ему помочь.

Тысячи лет существуют религии, храмы. Служители Бога видят страдания людей, пытаются помочь, но – и они бессильны. В одной из церковных книг я прочитал: «Иереи способны изгонять любых бесов, но если бы собрались все иереи Земли, они бы не смогли изгнать из человека одного беса пьянства».

И вот нашелся ученый, который сказал: **надо перепрограммировать сознание!**

Его никто не услышал, почти никто! И даже в институте, где он работал. Заметим кстати: факт этот останется вечным позором для руководителей Ленинградского института экспериментальной медицины – из них никто не заметил этого открытия. не поддержал автора – своего собственного сотрудника. И особый позор на директоре института – Наталье Петровне Бехтеревой. Она не только осталась равнодушной к открытию, но чинила препятствия, хода не давала ученому и на пенсию «проводила», едва ему исполнилось шестьдесят лет.

Тысячи людей освободились от пьянства при посредстве метода Шичко, я один мог бы назвать около сотни фамилий, вырванных из болота беспробудного пьянства, но и все-таки есть ли метод? – до сих пор приходится доказывать.

«Перепрограммировать сознание, заменить питейную убежденность на трезвенническую» – это формула, это точно указанный маршрут к цели. Но где средство ее достижения?..

Попробуем раскрыть содержание формулы.

Итак: была одна программа – винопитейная...

– Но откуда взялась эта программа? – воскликнул Сергей. – Не родился же человек с мыслью о выпивке?

– Нет, – продолжал я, – человек рождается трезвенником. Но с пеленок ему внедряется винопитейная программа. Отец и его друзья сидят за столом и пьют. Родное, любимое лицо отца сияет от счастья. Он держит перед собой рюмку и приглашает друзей выпить. Всем хорошо, и все смеются. И малыш, лежа в коляске, тоже смеется. Им хорошо, и ему хорошо. Настроение отца передается ему мгновенно, автоматически и в полной мере. И так повторяется сотни раз. Ребенок привык, он, как и его отец, счастлив от одного только вида вина и рюмки. Это – начало программы, первые кирпичики винопитейного убеждения. В сознании много программ, винопитейная – одна из них.

Чем дольше живет человек, тем назойливее внедряется в его сознание программа винопития. Молодому человеку говорят: «Какой же ты мужчина, если не пьешь?»

Взрослому человеку, если он не хочет пить, скажут: «Ты нас не уважаешь, не хочешь поддержать компанию».

А если уж человек упорствует, ему дружно, в один голос станут говорить: «Ты странно себя ведешь! Уж не болен ли чем? Признайся!..»

Так из поколения в поколение передается система убеждений: пить – хорошо, не пить – плохо, это ненормально, не принято среди здоровых людей.

Тут заключена трудность проблемы. Тот, кто хочет быть трезвым, должен найти в себе силы пойти против вековых устоев, обрушить возведенные перед ним горы лжи.

К несчастью всех стран и народов, на страже винопития стоят не только заинтересованные люди, но и правительства. «Пьяным народом легче управлять», – сказала Екатерина Вторая.

Где же тут устоять человеку? Ему противно, а он пьет, ему вредно, а он пьет, ему негде взять денег, но он достает их и пьет...

Так где же выход? – спросите вы. Как победить вселенскую беду?

«Перепрограммировать сознание! – говорит Геннадий Шичко, – сначала отдельных людей, а затем всего общества».

Люди, а не боги закладывают человеку в мозг питейную убежденность, они же, люди, могут ее и разрушить и на ее обломках выстроить новое сознание – трезвенническое.

Звучит почти фантастично, но пойдём дальше.

– Да, да, – и расскажи, пожалуйста, как Шичко разрушал эту самую программу и выстраивал новую.

– Исследуя вторую сигнальную систему, он хорошо понял механизм ее действия.

Заметим коротко, чем отличается вторая сигнальная система от первой.

Первая – это непосредственный раздражитель. Огонь. От него идет свет, тепло, прикоснулся – больно, и так со всеми другими ощущениями – запах, вкус.

Ну, а вторая сигнальная система? Это – речь. Слова – сигналы, вторые сигналы. Они делятся на группы:

- 1) слова произносимые,
- 2) слова слышимые,
- 3) слова видимые.

Это – по Павлову. Но Геннадий Андреевич скромно дополнил своего учителя: «Для полноты классификации сюда следовало бы отнести и **слова изображаемые**, то есть производимые с помощью письма».

Геннадий Шичко поначалу пользовался арсеналом открытых Павловым средств. Не забывал он и о своем скромном добавлении: «...слова изображаемые». Требовал от слушателей своих групп дневников. Писали не все. И Геннадий Андреевич, добрый по натуре и покладистый, не настаивал.

Результата достигал поразительного: отрезвлял почти пятьдесят процентов алкоголиков. А наркология, официальная медицина – шесть-восемь процентов. Там больницы, лекарства, врачи, а он, не имея ничего кроме препятствий, и – половина!

Вел строгий учет, ни с кем не терял связи, многие из отрезвившихся ходили к нему в клуб и сами включались в борьбу за трезвость.

Десять дней! По три часа в день.

Десять – число не произвольное, к нему Геннадий Андреевич пришел постепенно, в процессе многих наблюдений, раздумий. Именно десять трехчасовых занятий требовалось для полного освобождения от пьянства. Академик Ф. Г. Углов изучал метод Шичко и тоже пришел к убеждению, что даже такому опытному человеку, каким был Шичко, необходимо провести десять занятий для изменения сознания.

Нарколог тоже беседует с человеком и, бывает, достигает цели, отвращает от пьянства, но это лишь отдельные случаи. Вот примерный разговор нарколога с пациентом:

– Ну, что же ты? Докатился! Бедолага!

И в этом нарочито фамильярном обращении, в обидно-покровительственном тоне слышится неуважение. Еще не начав лечения, врач устанавливает дистанцию, ставит пациента к позорному столбу, унижает и даже оскорбляет самые высокие чувства, которые есть у всякого человека, даже у последнего пьяницы. И уже одним этим порождает недоверие к себе. Что бы он ни говорил после этого, ему уже не внемлют.

Нарколог журит, упрекает, увещевает, призывает, наконец запугивает. Он тоже стремится повернуть сознание к трезвости, но не доводит рычажок до конца: свет не включается.

Наркологи и сами пьют, а потому вам скажут: пей, да дело разумей. Надо пить в меру. А иной слова церковной проповеди вспомнит: вино даже полезно животу нашему, аще пиеши в меру. Есть и такие наркологи.

Шичко знал эту слабость официальной медицины, искал пути полного изменения питейной программы, изобретал механизм, который бы во всех случаях рычажок выключателя доворачивал до конца. В беседах с алкоголиками он не только не прибегал к малейшей лжи, но развенчивал ее, он утверждал правду об алкоголе. Рисовал общенародную, общемировую картину алкогольной пагубы, приводил исторические факты, высказывания великих людей, читал антиалкогольные стихи, сказки, легенды. Доходил до таких отделов мозга, где формируются наши высшие понятия: совесть, честь, жалость, сострадание, общественный долг. И тут-то находилась та незримая черта, достигая которой рычажок выключателя зажигал свет. Рушилась прежняя система питейных понятий, дробилась на мелкие куски и выметалась из сознания питейная запрограммированность, на ее месте создавалась стройная система трезвой жизни, новая очистительная философия.

Какие же темы брать для своих занятий?

Набор тем легко составить, если прочтешь книги Ф. Углова, Л. Шичко-Дроздовой, наконец, мою книгу «Геннадий Шичко и его метод».



Есть много других книг по проблеме алкоголизма. И чем больше их прочтешь, тем основательнее подготовишься к проведению занятий.

Вот примерные темы: «Почему люди пьют?», «Кто и зачем нас отравляет?», «Кого можно считать алкоголиком?», «Как я стал алкоголиком», «Алкоголь и женщины». «Алкоголь и дети», «Правда о сухом законе в России и Америке», «Алкоголь и мозг» и т. д.

И все-таки... Пятьдесят процентов! Долгое время Шичко отрезвлял лишь половину своих слушателей. Конечно, остановись он и на этом результате, он бы все равно был автором одного из величайших открытий. Человечество и за это было бы ему благодарно. Но Шичко не унимался. Десятки и сотни людей он отвращал от пьянства, и в то же время мучительно искал пути к стопроцентному успеху.

Где же слабое, недостающее звено?

Его статистика показывала: больший процент отрезвления среди тех, кто пишет дневники.

Звонил этим людям, встречался с ними: да, среди писавших дневники не только больше отрезвившихся, но в их сознании крепче засела идея трезвости, они настроены по-бойцовски, горят желанием отрезвлять других.

Так Шичко «довернул рычажок» стопроцентного результата. Полного успеха можно достигнуть лишь в том случае, если будут задействованы все четыре группы вторых сигналов!

Проводя работу с алкоголиками, Геннадий Андреевич говорил искренне, убедительно, доказательно. Его речь была откровением. Вот вам слово слышимое. Свои слова он подкреплял цифрами. Их он писал на доске – слово видимое. С интересом слушал ученый исповеди алкоголиков – это слово произносимое. Настоятельно просил описать все это на бумаге – слова изображаемые.

Во время занятий шла массирующая атака на сознание. Здесь задействовалась речь, слух, зрение пациента и рука. А работающая рука связана с подсознанием. То, что перешло в подсознание, становится неистребимым. За это человек и на смерть идет.

Работающая рука! Дневник! – вот тот рычаг, который включает свет.

Все больше желающих пройти у него курс отрезвления. Шичко никому не отказывает. Он уже не работает в институте, живет на пенсию, не берет денег за отрезвление. И ко всему этому добавляются болезни. Все чаще ноет сердце, сдают глаза.

Жена его Люция Павловна мне рассказывала: Геннадий Андреевич и спит и работает в кабинете, до двух-трех часов у него горит свет.

Каждому, кто хочет пройти курс отрезвления. Шичко теперь говорит: «Возьму в группу, но с условием, что будете писать дневник». Результаты поразительны: пишущие дневники отрезвляются все!

Поиски ученого становятся учением и получают блистательное завершение.

Мы уверены, что именно оно, это учение, в будущем явится спасительным для всего человечества.

Ныне в стране тысячи учеников и последователей отрезвляют алкоголиков по методу своего учителя. Чтобы увидеть, как они преображают сознание, приведу стихи алкоголика. Десять дней он слушал руководителя группы, сидел молча и уклонялся от всяких разговоров, а под конец в своем дневнике написал стихи – первые в своей жизни:

Один ученый, видя, что Россия  
Все глубже вязнет, заходясь от боли,  
Задумал вытащить народ свой из трясины,  
Из топи, из болота алкоголя.

Он много лет работал над системой,  
Так называемой Второй сигнальной,  
Бывало, падал, но вставал затем он  
И разработал метод гениальный.

Ища поддержки для своей идеи,  
Стучал в ворота, двери, маленькие дверцы,  
И, не найдя, боролся, все ж надеясь...  
Гонимый, умер он – не выдержало сердце.

Лишь после смерти метод подхватили  
И понесли в народ многострадальный.  
В народ, который так уже споили!..  
Стаканов звон страшней, чем звон кандалный.

Такое стихотворение лучше, чем любая клятва говорит нам: этот человек пить не будет. Он родился во второй раз. Родился и увидел: как прекрасен мир, если на него смотреть трезвыми глазами.

Сергей Николаевич, послушав мой рассказ, покачал головой и едва внятно произнес какие-то неопределенные междометия. Не выражал он согласия, но и не возражал, а уходя, лишь спросил:

– У тебя есть книги по этому методу?

– Есть, конечно.

– Ты дашь их мне на время?

– Пожалуйста, хоть сейчас возьмите.

Подобрал несколько книг и вручил ему. Сергей Николаевич с серьезным и решительным видом направился к двери.

**Иван Владимирович Дроздов**